

# Анатолий Алексин. Запомни его лицо...

(Из воспоминаний Александра Гончарова)

Школьная пора моей жизни делится на два основных периода: до публикации моих стихов о любви и после их публикации.

Будучи семиклассником, я написал о том, сколько счастья приносит человеку любовь. Мама прочитала стихи, вынула из пластмассового футляра очки и еще раз прочитала.

- Откуда ты взял, что любовь приносит счастье? - спросила она.

Я знал, что маме любовь счастья не принесла. Избегая вопросов о моем отце, которого я ни разу в жизни не видел, мама с нарочитой гордостью сообщала: "Я мать-одиночка!" Сообщала так, как если бы, подобно Менделееву, в одиночку создала невиданную таблицу. После ее сообщений люди молча, глазами и мимикой, выражали убеждение, что воспитывать ребенка вместе с отцом - занятие странное и нелепое.

Хотя мое восторженное отношение к любви вступило в конфликт с маминым жизненным опытом, она все же перепечатала у себя в поликлинике стихи на пишущей машинке.

- Как подписать? - предварительно спросила она.

- Александр Гончаров!

- А может, все-таки... Саша Гончаров? Или Саня? И указать номер школы?

- Любовь и номер?! - воскликнул я. - Припиши еще, что я учусь в седьмом классе!

- Александр Гончаров? - раздумывая, переспросила мама. И закурила. -  
Такое имя и такая фамилия в литературе ко многому обязывают. Скромно ли  
будет?

- Брать псевдоним тоже нескромно, - ответил я. - Для этого надо быть  
писателем.

То ли имя подействовало, то ли фамилия, но через месяц стихи были  
напечатаны в вечерней газете.

Можно сколько угодно проработать инженером или врачом, и никто не будет  
по этому поводу останавливать тебя во дворе или кричать в лифте. "Ну,  
молодец!" Меня ощупывали любопытными взглядами. "У них, у поэтов, это рано  
начинается!" - доверительно пояснила наша соседка по квартире, приобщаясь  
чуть-чуть к моей славе.

Я знал, что любовь обязана приносить людям радость. Иначе зачем она?  
"Правда, по отношению к маме... она не выполнила своих обязанностей", - с  
грустью констатировал я.

Угадав мою мысль, мама сказала:

- Любовь не звучит в сольном исполнении. Здесь нужен дуэт.

Я понял, что мамина любовь была одинокой солисткой.

- Но в результате родился ты! - сделала открытие мама. - Значит, любовь  
и мне кое-что принесла. Как я раньше до этого не додумалась?

Мама все делала обстоятельно, несуетливо. Так она и рассуждала сама с  
собой. Она постоянно следила за тем, чтобы содержание (манера мыслить,  
общаться и действовать) не противоречило форме, то есть ее внешности,  
которая была солидной и даже, как говорила она сама, фундаментальной. И  
голос не отрывался от формы: он был низким и хриплым. Мне не нравилось,  
когда мама называла его "прокуренным". Приятней было, когда говорили, что у  
мамы контральто. Слова ее не слетали с языка, а возникали откуда-то из  
глубины и потому звучали веско, продуманно. А мамино лицо я не берусь  
описать... Это было лицо моей мамы. Вот и все.

Хоть я был у мамы единственным - безусловно, первым и, безусловно, последним - ребенком, ее вполне можно было назвать матерью-героиней: она рожала меня трое суток.

- Это был подвиг! - говорила врач-акушер, которая стала первой свидетельницей моего появления на свет.

Уже почти невесомая, чуть-чуть покосившаяся на левый бок старушка, она обладала такими снайперски пронизательными глазами, что при ней можно было не произносить слов: она все предвидела и обо всем догадывалась заранее.

В утро моего рождения она догадалась, что мама больше терпеть не может.

- Придется прибегнуть к щипцам, предложила я Маше, - вспоминала Александра Евгеньевна. - А она не позволила. Хотела, чтобы ты вступил в жизнь, так сказать, естественным образом. Да что говорить... Героиня!

- Подвиг... Героиня... Что вы, Александра Евгеньевна! - без всякого кокетства возражала мама. - Обычное бабье дело. Вы от меня трое суток не отходили. Это был действительно подвиг! Я вот и назвала его в вашу честь...

- Нет, Мария Георгиевна, то, что вы пережили, ни один мужчина в обычное, мирное время вынести бы не мог.

Возражая, она переходила на "вы" и называла маму по имени-отчеству, что придавало ее фразам категоричность. Вообще, в ней единства формы и содержания в отличие от мамы не наблюдалось: тело ее могло не выдержать и дуновения ветерка, а дух способен был противостоять буре и урагану. "Акушер, как и минер, принимает лишь окончательные решения", - убежденно повторяла она.

Она утверждала только то, в чем была абсолютно убеждена. О мамином героизме Александра Евгеньевна вспоминала так часто, будто те трое суток растянулись для них с мамой на всю жизнь.

А я утешал себя тем, что принес маме не одни только муки, но и Александру Евгеньевну.

- Дружба выше любви! Если только не подменять ее циничным понятием

"совпадение интересов"... - утверждала Александра Евгеньевна. - Выше потому, что это величина более постоянная.

Я понял: полвека работы в родильном доме убедили Александру Евгеньевну в том, что любовь нередко бывает величиной переменной. Но я все же продолжал писать о любви! В первом моем стихотворении каждое четверостишие начиналось словами: "Люблю тебя!" К кому это относилось? Трудно сказать. Это могло относиться и к маме... И к Александре Евгеньевне (хотя в жизни я, естественно, обращался к ней только на "вы"). Это могло быть адресовано дому, в котором мы с мамой жили... И нашей улице, и нашей комнате, где мне было известно все: каждая трещинка на потолке, каждый узор на обоях.

Это могло быть обращено и к учительнице Нине Филипповне. И к литературе, которую она преподавала. Но скорей, все же к учительнице...

- Мы с вами не будем изучать литературу, - заявила она при первой встрече. - Мы будем литературу любить!

Для начала мы все влюбились в Нину Филипповну.

Перед ее уроками я бегал в туалет, где было зеркало, и причесывался. А на самих уроках с тоской разглядывал ее обручальное кольцо. С таким же настроением его изучала вся мужская половина нашего класса.

Сама же она любила менять прическу: "Ищу себя!"

На переменках принимала такие позы, будто собиралась фотографироваться.

И спрашивала:

- Ну, как на этот раз?

- Замечательно! - орали мальчишки.

Девочки не орали. Они молча и обреченно соглашались с неоспоримым превосходством учительницы литературы.

Она взирала на нас и на жизнь с озорным любопытством. И ямочка на ее левой щеке, то и дело менявшая форму, тоже была озорная, и озорной была щелочка между передними зубами.

Нина Филипповна считала, что в жизни не бывает бессмысленных дней.

- Даже пустой день, - объясняла она, - важен своей поучительностью: вы понимаете, что не надо его повторять!

А самые значительные события Нина Филипповна советовала описывать в тетрадках.

- Писать друзьям без практической надобности, вести дневники - достойнейшее занятие! - убеждала она. - Никчемные и расчетливые люди этим не занимаются: одним нечего доверить бумаге, другим жалко времени. А великие мира сего и мысли записывали: незаписанная мысль подобна птице, перед которой распахнули окно.

Многие мальчишки принялись рассказывать в тетрадках о "самых значительных днях" своей жизни, чтобы лишний раз посоветоваться с Ниной Филипповной и посидеть рядом с ней.

Я записей в тетрадках не вел. Я писал стихи про любовь!..

Нина Филипповна изобретала для наших домашних сочинений такие темы, каких, я уверен, никто до нее не придумывал. Когда я был еще в пятом классе, она, помню, сказала:

- Ванька Жуков написал "на деревню дедушке". Но, допустим, письмо все же дошло. Что бы дедушка ответил Ваньке?

Тридцать девять учеников пятого класса "В" позвали Ваньку обратно в деревню и пообещали ему, что все будет хорошо.

Вероятно, я звал его настойчивей остальных. Когда Нина Филипповна прочитала мой ответ, ее левая щека разгладилась, озорная ямочка исчезла.

- Я не знала, что ты такой... добрый, - сказала она.

Нескромно, быть может, вспоминать об этом в своих записях, которые я все же начал вести... потом, много лет спустя. Но кто их прочтет?

Свой ответ Ваньке Жукову я принес домой... Александра Евгеньевна восторженно вспорхнула с дивана, поскольку была почти невесомой.

- В тебе живет не только будущий отец, но и будущий дед!

Она любила ободрять меня надеждами и похвалами. А иногда, глядя на

меня, сочувственно улыбалась:

- Ты, Саша, среди нас в меньшинстве: мы с Машей обе главные, и только ты один - рядовой.

Она работала тогда главным врачом родильного дома, а мама главным врачом поликлиники.

- Ваше медицинское заведение, Александра Евгеньевна, вроде завода-изготовителя: вы дарите новую продукцию, - однажды сказала мама. - А я как бы на ремонтном предприятии: чиню то, что повреждено и поношено.

- Ну, зачем такие противопоставления? Мы с тобой - изготовители и ремонтники - друг без друга существовать не можем!

- И все-таки служить детям...

- Все люди, Мария Георгиевна, чьи-то дети.

Александра Евгеньевна иногда изъяснялась так, как если бы рядом с ней находились будущие роженицы, которые не могли сомневаться в точности ее диагнозов, советов и точек зрения.

В другой раз она, уцепившись за ручки кресла, точно боясь непроизвольно вспорхнуть, с задумчиво-печальной улыбкой произнесла:

- Я могла бы, конечно, считать, что у меня много детей. Что все дети, которых я увидела первой, мои... Но это было бы нарядной неправдой. Я запомнила лишь тех, которые рождались в муках. В особых муках! И только их матерей не забываю всю жизнь. - Она приподняла и опустила свои плечики, как бы извиняясь перед теми матерями, которые не особенно мучились. - Новорожденные должны были бы увидеть и услышать страдания матерей. И тоже запомнить их! Дети приносят столько трудного до своего появления и во время его, что должны были бы потом приносить одну только радость. Или хотя бы стараться ее приносить.

- Он старается! - сказала мама, указав на меня. Она не допускала, чтоб на мою репутацию падало даже подобие тени.

Однажды Александра Евгеньевна показала нам ветхий блокнот. Его страницы

возле корешка были старательно склеены.

- Здесь записаны имена и фамилии матерей, которые особенно пострадали. Видите, как их много? Навещаю, если хотят... И к детям их тоже являюсь. Хотя многие из моих, так сказать, крестников были бы рады избавиться от этих напоминаний.

- Он всегда рад вас видеть! - Мама вновь указала на меня.

- А вот имя и фамилия... в чернильной рамке... Что это? - поинтересовался я.

Мама пригнула голову: мои просчеты были для нее невыносимы.

- Это случилось давно, - произнесла Александра Евгеньевна. И, помолчав, добавила: - Очень давно... Но я продолжаю свои визиты. У дочери этой женщины... которая в рамке... долг особый: за нее отдана жизнь.

- И что же? - одними губами спросила мама.

- Дочерью я довольна. И мужем довольна: до сих пор не женился.

- Все еще не женился! Его фамилия Ивашов?

- Ивашов.

Мама успокоенно вздохнула: ей тоже хотелось, чтоб Ивашов продолжал оставаться холостяком. Она мысленно коллекционировала проявление верности и благородства. Иногда вслух перебирала эту коллекцию, которая, увы, была не столь уж богатой. Коллекционировала мама в памяти и лица, которые производили на нее впечатление. "Запомни!" - говорила она. А я, всматриваясь, не всякий раз понимал, почему именно это лицо надо запомнить.

Ветхий блокнот Александры Евгеньевны прежде был мне неизвестен, и я, преодолевая боязнь вновь оказаться бесцеремонным, все же спросил:

- А что здесь за цифры? Вот эта колонка...

- Дни рождения... Я навещаю своих крестников именно в эти дни. Удобнее напоминать, что они появились на свет не сами по себе.

Я ощутил удовлетворение: к нам в дом ее приводила не только семейная дата.

Александра Евгеньевна в тот вечер сказала мне, приглушив голос почти до шепота:

- А так, как мучилась твоя мама, не страдал никто... На моей памяти.

- Это вы говорите всем сыновьям, которых навещаете. - Мама увесисто, как бы утрамбовывая пол, зашагала по комнате. - Всем говорите... Я уверена.

Грузно подтянувшись, она открыла форточку и закурила: мы с Александрой Евгеньевной не должны были вдыхать то, что вдыхала она.

В другой раз я, склонный к излишней любознательности, спросил у Александры Евгеньевны:

- А вашего сына... никто из родильного дома не навещает?

- Никто. - Она сожалеюще развела в стороны свои высохшие от времени руки. Еще больше покосилась на левый бок. И чтоб удержаться, оперлась локтем о колено. - У меня, как вы знаете, и правда есть сын. Но он не мой... Хотя я его мать. Трагичная семейная казуистика. Не мой в том смысле, что я не нужна ему.

- А вы бы... - начал я.

- Нет пророка в своем семейном отечестве. Сапожник без сапог... А я без собственных детей! - Она виновато закашлялась. Потом встрепенулась, локоть покинул колено. - Впрочем, не сын виноват.

- А кто? - с агрессивной поспешностью спросила мама: она не могла допустить, чтоб и на Александру Евгеньевну упало хоть подобие тени.

- Любви нельзя требовать: ее надо заслужить или завоевать. Даже если речь идет о любви сыновей.

- Впервые вы, Александра Евгеньевна, несправедливы. И к кому? К матери!

Мама принялась утрамбовывать пол. Она знала, что на матерей Александра Евгеньевна никогда не замахивалась. В отличие от отцов... Вообще между понятиями "мать" и "отец" она знака равенства не допускала. И если первое



слово мысленно начинала с заглавной буквы, то второе начинала с буквы обыкновенной.

- Вы заметили, как по-разному мать и отец впервые взирают на свои запеленутые произведения? Она - с безумным восторгом, а он - с изучающим! Ищет свои черты. И напрасно... Дети - наше продолжение, а не повторение, - говорила Александра Евгеньевна.

В любых конфликтах между женщинами и мужчинами она была на стороне женщин.

- Такая профессия! - пояснила мне мама.

- Каким образом мать может быть одиночкой, если рядом с нею ребенок? - непримиримо возражала Александра Евгеньевна маме.

Заодно и ответственность за просчеты детей она тоже взваливала на отцов.

Мама как врач имела дело не только с пациентками, но и с пациентами. Поэтому она пыталась восстановить справедливость.

- Вы, я понимаю, не будете снисходительны к отцам до тех пор, пока не начнете принимать у них роды.

- Роды я давно уж не принимаю.

В своем покосившемся состоянии Александра Евгеньевна вынуждена была стать врачом-консультантом.

Мама с трудом подтянулась, открыла форточку и закурила. Повернувшись к нам вполоборота, она сказала:

- Но разве не бывает и матерей, которые бросают... забывают детей своих?

- О таких надо создать... трагические повествования. И их создадут... теперь или после: измена материнскому долгу - самое непостижимое грехопадение. Кто-нибудь скажет: это редко случается! Но исключительные сюжеты рождают порой исключительные по ценности произведения... Зачем вы курите, Мария Георгиевна?

Мама махнула рукой.

- Махнуть на себя - значит махнуть и на него!

Александра Евгеньевна укоряюще приподняла и опустила свои плечики.

- Спасать матерей и детей - это ее призвание, - сказала мне как-то  
мама.

Спасать Александра Евгеньевна бросалась без спроса и разрешения. Хотя без предварительного звонка даже к нам никогда не являлась.

Но однажды пришла...

Было воскресное летнее утро.

- Что-нибудь случилось? - спросила мама.

Александра Евгеньевна присела и, чтобы выпрямить, поддержать свое легкое тело, схватилась за ручки кресла. Но с каким-то отчаянным напряжением.

- Раньше я переживала за детей. А теперь... Неужто придется переживать их самих?

- О чем вы? - спросила мама. И оборонительно скрестила руки у меня на груди.

- Война началась.

Услышав о войне, мама, еще старательней, чем обычно, утрамбовывая пол, подошла к телефону. Сняла трубку... И положила ее обратно. Потом накрыла руками мою голову. Она приготовилась меня защищать. Руки у нее были крепкие... Как и характер.

Мама ходила в туфлях на толстой подошве с крупным, неженственным

каблуком. Она считала, что женственность ей вообще ни к чему. "Мужик в юбке!" - говорила она о себе. Юбка на ней чаще всего была темно-синяя. И такого же цвета был шерстяной пиджак.

- Говорят "синий чулок", а я - синий пиджак! - не щадила себя мама. - Если б я сейчас натянула синие чулки, это бы выглядело экстравагантно, а вовсе не целомудренно. У каждого времени свои понятия о красках и модах.

Александра Евгеньевна считала, что дружба выше любви... А характер не должен быть сильнее разума. Уцепившись за ручки кресла, она утверждала, что не характер призван повелевать разумом, а разум характером. У мамы разум и характер были вполне равноправны.

"Мужик в юбке" - это определение мама распространяла не только на свой внешний облик, но и на внутренний.

- Ваш ум, Мария Георгиевна, нельзя назвать мужским, - возражала Александра Евгеньевна. - И нельзя назвать женским. Истинно высокий ум не имеет пола!

С тем, что ум у моей мамы истинно высокий, я был согласен полностью.

- Главное: надо быть вместе, - сказала мама в то воскресное обманчиво мягкое утро. - Быть вместе! И тем, которые любили друг друга... - Подведя меня к Александре Евгеньевне, она обхватила руками нас обоих. - И тем, которые не любили... Враг у всех общий!

Школьные каникулы продолжались: эта примета мирной жизни существовала вроде бы по инерции... Мы с мамой решили пойти в кино. Пишу так, хоть Нина Филипповна объясняла нам: "Нельзя ходить в кино, как нельзя "ходить" в литературу или в живопись: это обозначения видов искусства. Можно ходить в кинотеатр. Остерегайтесь неточностей речи, даже общепринятых. Не говорите, к примеру, "март месяц", ибо март ничем, кроме месяца, быть не может. Неточности речи, даже вроде бы узаконенные, ведут к неточности мыслей, а

значит - поступков". Она говорила много такого, чего не было в учебниках и программах.

В кинотеатре шла комедия.

- Как раз то, что надо! - сказала мама.

Здание кинотеатра было одним из домов, окаймлявших просторную круглую площадь. Она казалась мне огромной поляной, которую по ошибке залили асфальтом... Кинотеатр был очень популярен у школьников: зрителей там после сеанса выпускали не во двор, а в фойе. Можно было уйти, а можно остаться... Случалось, я не покидал дома на площади с утра до того часа, когда мама возвращалась из поликлиники. "Неужели все это было?" - думал я, слушая сводки Совинформбюро и не веря уже, что веселая беспечность когда-то существовала.

Мама решила развеселить меня и повела на комедию.

Но до кассы мы не дошли... Нас остановила сирена воздушной тревоги. Она немного замешкалась, опоздала - и мы услышали зловещее бряцанье зажигалок. Они ударились об асфальт посреди круглой площади. Сперва все казалось мне не настоящим. Потому что было светло... Бомбежки в моем сознании со светом не сочетались. Я боялся приближения ночей: они могли оглушать взрывами, вонзаться в душу сиренами. А тут... летний вечер еще только начинал обволакивать город. Быть может, тревога учебная?

Я взглянул на маму и понял, что время учебных тревог миновало. Днем явилось вдруг то, что раньше отваживалось являться лишь в темноте. Это меня потрясло.

Мама стиснула мой локоть и потащила за собой в переулок. Полнота не мешала ей действовать быстро. Она уверенно печатала шаги своими туфлями на толстой подошве.

Полпереулка занимал серый массивный дом. Все в нем было основательным, неколебимым. И барельефы на темы каких-то древних сказаний подчеркивали, что дом построен хоть и давно, но на столетия. Над приоткрытой подвальной

дверью, обитой железом, было написано "Бомбоубежище". Вход закрывал собой гренадерского вида дворник, очень почитавший свою профессию. На нем был тщательно, до белоснежности выстиранный фартук с начищенной бляхой. Бляха поменьше сияла и на фуражке. Парадно пышные усы были цвета фартука - такие же белые, словно старательно выстиранные.

- Пускаем только женщин с детьми, - не шевельнувшись, предупредил он.

- Но я с мальчиком! - сказала мама.

- Где мальчик? - осведомился дворник.

Мама подтолкнула меня вперед.

Ее характер перестал быть похожим на себя самого - она заметалась:

- Вы не можете... не пустить!

Переведя на меня невозмутимый, неподкупно оценивающий взгляд, дворник немного отпрянул от двери - и за его спиной в бомбоубежище прошмыгнула женщина с девочкой на руках. Потом еще отпрянул... Еще... Наконец повторил:

- А где мальчик?

- Его пустить... вы обязаны! Если у вас есть дети...

Мамин голос уже не был требовательным, повелительным. Она умоляла.

Где-то далеко, разлетаясь во все стороны бесстрастно-неотвратимым эхом, обрушилась фугаска. Мама накрыла руками мою голову. На крышах надрывались зенитки.

- Пустите! Вы обязаны...

- Детям не хватит места, - спокойно ответил дворник. И на мгновение отпрянул от двери. - А он у вас... Какой же это ребенок?

Мне было пятнадцать с половиной.

- Послушайте... Я прошу вас!

- Не могу.

- Вы человек?!

В мамин голос была ненависть. И мольба... Но дворник не обратил на это внимания.

Мама вновь стиснула мой локоть и потащила вдоль переулка. Гильзы от зенитных снарядов звякали возле нас.

Мама все время пыталась прикрыть меня - руками, плащом, даже сумкой. Гильзы сыпались с крыш...

Тогда она решила спрятать меня в первом попавшемся подвале, не приспособленном под бомбоубежище. В сырой темноте мы наугад нащупывали ступени. Они были выщерблены, до скользкости отшлифованы. Мама шла впереди, прокладывая дорогу.

- Осторожно! - просила она.

В подвале мы присели на какие-то холодные, мокроватые трубы. И в тот же миг дом вздрогнул, сотрясся от громового удара. С потолка что-то полетело, посыпалось. Мама прижала мою голову к своим коленям и накрыла ее собой.

"Что это? Что это?.." - послышалось совсем рядом и донеслось откуда-то из сырой глубины. Мы поняли, что подвал не только нас одних защитил и спрятал как мог.

Потом все затихли, точно боялись обнаружить себя. А над городом нагло перемещался, кружил тупой рокот. И зенитки били по нему исступленно, безостановочно.

...Часа через три объявили отбой.

Так же на ощупь обнаруживая ступени, мы поднялись вверх. Наши соседи по подвалу и мокроватой трубе тоже поднялись и, не прощаясь, исчезли в уже наступившем позднем вечере. Мы так и не разглядели их лиц.

Вдоль массивного дома со старинными барельефами выстроились кареты "Скорой помощи". Из подвала, над которым было написано "Бомбоубежище", выносили детей и женщин. Они были с головой укрыты байковыми одеялами, хотя вечер выдался теплый. "Прямое попадание! Прямое попадание!.." - услышали мы.

Дворник с пышными седыми усами лежал на носилках возле двери, обитой железом. Здесь был его пост... Фартук был смят и забрызган кровью. Фуражка валялась возле носилок.

- Запомни его лицо, - тихо и потрясенно сказала мама. - Он спас нам жизнь.

Шли дни. А я все вспоминал уверенные в своей правоте, неподкупно оценивавшие меня глаза дворника. И его слова "Какой же это ребенок?"

Слова звучали откуда-то издалека. И с такой высоты, что им нельзя было не поверить.

Не могу сказать, что летние или зимние каникулы мне когда-нибудь надоедали. Что я тосковал по контрольным работам и домашним заданиям... Но с той поры, как появилась Нина Филипповна, я стал торопиться в школу. Если бы там преподавали одну лишь литературу, я бы готов был выдержать не шесть, а десять или даже двенадцать уроков.

- Это тебе не дает покоя тяга к творчеству, к слову! - восхищалась мама.

Но мне не давала покоя Нина Филипповна.

Когда на ее уроках я отвечал у доски, голос мой дрожал и срывался.

- Ты трепещешь при встречах с классикой! - подобно маме, восхищалась она.

Но я трепетал при встречах с ней... Она советовала нам искать идеал в повестях и романах. А я нашел его в жизни! Но молчал... А если и проговаривался, так только в стихах.

- Расшифровывайте смысл поэтических терминов, которые часто и даже возвышенно декламируете, но о смысле которых не задумываетесь, - советовала нам всем Нина Филипповна. - Вот, читая лермонтовское "Смерть поэта", вы привычно, скороговоркой произносите "невольник чести". А что это значит? Это значит, что поэт был в неволе у чести. В плену у нее... В добровольном

плену! Поступать бесчестно он просто не умел... Не мог ни при каких обстоятельствах!

Я мечтал проявить себя "невольником чести" в присутствии Нины Филипповны. Проявить себя так можно было только в борьбе. Или во время какого-нибудь несчастного случая. На мое счастье, несчастный случай произошел... Оконная рама стала внезапно вываливаться из класса на улицу: не выдержала спортивных тренировок, которые мы устраивали на подоконнике во время большой перемены. Она могла бы рухнуть вниз на уроке истории или математики... Но мне повезло: странный скрип раздался именно на уроке Нины Филипповны. Я сидел возле окна - и в один миг оказался на подоконнике... Схватился за деревянные перекладины и (о, радость!), пока не пришли мне на помощь, успел поранить стеклом обе руки. Но ни рама, ни стекло не рухнули на тротуар, по которому, как было потом написано в стенгазете, "ничего не подозревая, шли ни в чем не повинные люди". Мне помогли залить раны йодом, забинтовать руки.

- Невольник чести? - спросила меня Нина Филипповна.

На самом деле я был ее пленником-добровольцем! Но она не догадывалась об этом. Хотя с того дня стала называть меня Невольником: "Ну, как, Невольник, не боишься диктанта? Твое сочинение, Невольник, вполне можно опубликовать..."

Нина Филипповна говорила, что русская классика - не только наслаждение, но и спасение. Это было великой истиной! Когда спасение стало необходимым, я без конца читал Пушкина. И кричал маме, возвращавшейся из поликлиники: "Ты послушай!"

Если я читал чужие стихи, тем более пушкинские, меня начинало одолевать вдохновение... И я сочинил поэму. Я рассказал о дворнике, который пускал в бомбоубежище только детей и женщин. А сам туда не спустился... Я написал о том, что впервые увидел мертвого человека. И о том, какое короткое расстояние, оказывается, между жизнью и смертью. "Прямое попадание" - так я



назвал эту поэму, уместившуюся на пяти тетрадных страницах в линейку.

Стихи я послал в вечернюю газету, где первый раз мне повезло... Но их печатать не захотели. Мне ответили, что поэма слишком пессимистична. Как будто про войну можно было сочинить что-нибудь жизнерадостное! Посоветовали читать классику. А я и так читал ее каждый день.

Тот новый учебный год был новым в необычном для нас смысле. Все стало иным... Безоговорочно подчиненным войне. Никто нас не поздравлял. Поздравлять и радоваться было нельзя: у кого-то уже погибли отцы и братья, у кого-то пропали без вести.

Первым уроком по расписанию была литература. Стало быть, одна радость все-таки предстояла. "Увижу Нину Филипповну!" - думал я. И пытался представить себе, какими теперь будут ее искристые, озорные глаза.

Но Нина Филипповна не пришла. Сначала сказали, что она заболела. А потом стали вполголоса, по секрету передавать фразу, подслушанную в учительской: "Она готовится стать матерью". Я знал, что к этому готовятся девять месяцев. Начал расспрашивать о Нине Филипповне других учителей, и мне не без ревности отвечали: "Если б ты любил мой предмет так, как любишь литературу!" Меня успокоили: оказалось, что Нина Филипповна испытывала "временное недомогание".

А пока она прислала вместо себя другого учителя литературы, Николая Иваныча...

Это был ее муж.

В начале урока мы не слышали того, что он говорил: мы его изучали... Он был высок и красив. Это нас огорчило. Он не скрывал своих родственных связей, подчеркивал, что с каждым из нас знаком, потому что Нина Филипповна с ним вполне откровенна. Это нас возмутило.

"Готовится стать отцом!.." - думал я, видя, как он ни к селу ни к

городу улыбается, показывая свои зубы, которые были, как говорится, без сучка и задоринки.

Изучив Николая Ивановича внешне, мы стали сравнивать его педагогические качества с достоинствами Нины Филипповны. И тут он нас очень порадовал: о сравнении не могло быть и речи! Он сам признался, что учится у нее быть учителем. Значит, фактически он, как и мы, мог считаться учеником. Это было приятно!

Через десять дней мы с ним расстались: к нам вернулась Нина Филипповна. Она, как и вся наша жизнь, стала иной - не старше, но старше. Что-то отвлекало ее от нас. И чаще, чем к нам, она прислушивалась к себе самой. К тому, что происходило в ней... Голос ее вел себя осторожно: боялся заглушить то самое, что ей важно было услышать. Причиной перемен была не только война, а и то, что она... "готовилась стать матерью".

Готовясь стать матерью, Нина Филипповна делалась все сосредоточенней и серьезней. Ямочка на левой щеке едва обозначалась, щелка между передними зубами уже не казалась мне озорной. Я принес ей стихи про дворника.

- Большие поэты всегда размышляли о любви и смерти, - медленно произнесла она.

В последнее время я только об этом и размышлял.

И еще я думал о Николае Ивановиче: "Все из-за него! Из-за него..."

Никто не сказал ей о муже ни слова. Будто он к нам и не приходил.

Зная, что немцы на той близкой станции, где мы три лета подряд снимали комнату с верандой, я не мог уснуть по ночам. Все время казалось, что молчание черного круга на стене прервется той единственной фразой, которую он произносил по ночам: "Граждане, воздушная тревога!"

- Закрой глаза! - шептала мама во тьме. - Сегодня тревоги не будет.

Окно она занавесила постельным покрывалом, перекрашенным в черный цвет,

- и темнота была непроглядной. Штор у мамы не оказалось.

- Закрой глаза!

- Они и так...

- Нет, открыты.

Я продолжал не спать... с закрытыми глазами.

Урок литературы приближался к концу.

За сорок пять минут Нина Филипповна абсолютно убедила нас в том, что самое главное в литературе - это воссоздание человеческих характеров. Потому что только через них могут быть воссозданы время, эпоха.

- "Похожа на тургеневских героинь!", "Приторен, будто Манилов!",

"Разочарован, словно Печорин!" "Любят, как Ромео и Джульетта!". Разве мы не думаем так о реально существующих людях? - вслух размышляла Нина Филипповна.

И при этом взгляд ее задерживался на том, кто, несмотря на свой школьный возраст, уже чем-то напоминал Печорина или Манилова. На меня она взглянула, вспомнив Ромео.

В этот момент дверь приоткрылась и на пороге возникла гардеробщица, у которой был вечно замерзший вид и, как у ребенка в мороз, только лицо оставалось незакутаным. Она пальцем поманила Нину Филипповну:

- Директор зовет!

Все почему-то замерли, затаились... И так просидели до звонка. Но и он не поднял нас с мест. Мы ждали возвращения Нины Филипповны.

Вместо нее появилась десятиклассница с красной повязкой, преисполненная такого чувства ответственности, будто дежурила во фронтовом штабе.

Узрев на наших лицах тревожное ожидание, она еще более напряглась.

- Плохо с вашей учительницей, - коротко и загадочно, как о военной

тайне, сообщила она. И исчезла.

Мы бросились к двери... Табуном, в котором каждый своей стремительностью подгоняет другого, мы мчались вниз. Десятиклассница с повязкой, отвечая за все происходящее, тоже помчалась, стараясь по дороге нас образумить:

- Куда вы? Пойдите... Только напугаете ее!

Таинственность дежурной подстегивала весь наш табун. Но возле комнаты школьного врача мы разом остановились.

- Мужчинам неудобно! - сказала десятиклассница. И скрылась за дверью.

Вышла она вместе со школьным врачом - Ангелиной Афанасьевной, сухопарой, негнущейся, как восклицательный знак, женщиной в пенсне на старинной цепочке.

- Я уважаю ваше волнение, - сказала Ангелина Афанасьевна. Так она изъяснялась. - Но прошу вас покорнейше вернуться обратно. У Нины Филипповны очень опасные симптомы... Вы можете причинить вред.

- Я предупреждала! - бойко засвидетельствовала дежурная.

И мои одноклассники послушно побрели за нею вдоль коридора.

А я сделал несколько шагов... и вернулся.

- Скажите, пожалуйста, что случилось? Я никому... Но мне важно знать!

Необходимо...

Характер Ангелины Афанасьевны обладал определенностью восклицательного знака. Но тут ее взор рассеянно блуждал по мне: она думала лишь о том, что происходило за дверью.

- Необходимо? - машинально переспросила она.

- Очень...

- А почему?

Я не ответил. Но она сбросила пенсне, которое заболталось на старинной цепочке, сосредоточила взгляд - и поверила, что для меня это важно.

Посмотрела вслед моим удалявшимся одноклассникам. И грустно произнесла:

- Схватки у нее, милейший. Весьма преждевременные и опасные схватки. На почве душевного потрясения.

- Какого?

- Мужа на фронте убили.

- Не может быть!

- Сейчас все может быть.

- Где... его?

- Под Москвой. Нас защищал, дружок. Да-с... Нас с тобой.

- Николая Ивановича убили?..

- Я не знаю его имени-отчества... Директор побежал за автомобилем. С ней медсестра. - Она кивнула на свой кабинет. - А куда везти... не вполне представляю себе. Хочется наилучшим образом... Но дозвониться не можем.

Война!

- Наилучшим образом?

- Разумеется. Это наш долг.

- Я знаю, куда везти. Будет именно наилучшим!..

- Похвально, что ты хочешь помочь, но...

- Я позвоню по телефону. Из учительской... Бывшему главному врачу родильного дома.

- Нам надобен не бывший и не будущий. А тот, который поможет немедленно.

- Александра Евгеньевна и поможет! Она теперь консультант. В родильном доме ее все слушаются. Я знаю... Я сам там родился!

Она вернула пенсне на нос.

- Звони, дружок. Только без промедления! Промедление, знаешь...

"Неужели смерти подобно? - подумал я. - Не будет этого! Я спасу Нину Филипповну. И того... матерью которого она готовится быть!"

Я был уверен, что Александра Евгеньевна окажется дома. И она в самом деле будто ждала моего звонка.

- Еду, - сказала Александра Евгеньевна. - Везите свою учительницу.

Я записал адрес.

- Помогите ей... Я очень прошу!

- Везите... Но как драгоценную вазу! Никаких сотрясений. И потрясений...

- У нее мужа убили.

- Я еду.

...Вечером я подскакивал к каждому телефонному звонку.

- Она хотела, чтоб ты был "невольником чести"? - спросила мама. - На этот раз ты им был. Может быть, она назовет сына Сашей? В твою честь! Хотя это случится еще не скоро.

- Она назовет его Николаем, - возразил я.

- Да... ты прав. Ее ребенок еще не родился, но наполовину... он уже сирота.

Мама начала печатать свои увесистые шаги. Они становились еще увесистей, когда на душе у ней было беспокойно.

Александра Евгеньевна позвонила в девять вечера.

- Мы, поверьте, старались, - произнесла она таким голосом, каким диктор по радио сообщал: "После тяжелых боев наши войска оставили город..."

- И что? - спросил я.

- Она потеряла не только мужа, но и ребенка. Ее теперь нельзя оставлять одну.

До утра я думал о Нине Филипповне, о ее ребенке... убитом войной. Но больше всего о ее муже. Почему его красота меня раздражала? А его стройность казалась нестройной? Почему я злорадствовал, когда он называл себя учеником? Ставить достоинства в вину человеку... не подло ли это? Я завидовал ему?.. А зависть - это, как считает Александра Евгеньевна, самый отвратительный грех. И мама говорит, что именно она, зависть, источник почти всех людских

пороков. Как же я?.. А он отдал за меня свою жизнь. И жизнь своего ребенка.

Я представить себе не мог, что увижу Нину Филипповну у нас в комнате.

Но Александра Евгеньевна привела ее, заранее договорившись с мамой. А я об этом не знал, и мои носки с заштопанными мамой пятками предательски валялись на тахте. И рубашка, как пишут, "несвежая", которую мама собралась выстирать, столь же предательски висела на стуле.

Но я обратил на это внимание позже, потому что вначале остолбенело уставился на Нину Филипповну. А она отводила взгляд в сторону тахты с заштопанными носками и стула с несвежей рубашкой. Только позже я понял, что она вообще ничего не видела... За весь вечер она произнесла лишь одно слово. Мама спросила ее, можно ли закурить, и она ответила "Конечно".

Окно было спрятано постельным покрывалом, перекрашенным в черный цвет. Мама тоже скрылась за покрывалом. И, как я понял, стала дымить в форточку даже в грозное время мы не должны были вдыхать то, что выдыхала она.

Нина Филипповна не похудела, розово-бархатный цвет ее щек лишь немного поблек. Но она уже не прислушивалась к себе... Там, внутри, ничего не было. Мне казалось, что вообще ничего... Мама, вернувшись из-за покрывала, начала с особой весомостью передвигаться по комнате, утрамбовывать не натертый, потускневший паркет, стремясь заглушить то, о чем все мы думали. Но я никак не мог избавиться от мысли, которую война пока не успела сделать для меня привычной погибали не только молодые, но и еще не родившиеся. Я перестал быть ребенком, а сын Нины Филипповны вообще не сумел им стать (я почему-то не сомневался, что это был сын).

- Приходите к нам, - сказала мама. - Саша вас любит!

Я не вздрогнул от ее фразы. Почему?.. Наверное, я относился к Нине Филипповне уже иначе, чем прежде. Говорят, любить - это значит жалеть. Я очень жалел Нину Филипповну и ее погибшего мужа. И ее сына... Они навсегда

стали существовать для меня только вместе. Я жалел их... Жалость была гораздо острее того чувства, которое я испытывал прежде на уроках литературы. Но это было нечто другое!

- Пусть все, что случилось... объединит нас. Сделает неразлучными! - произнесла Александра Евгеньевна. И, устыдившись красоты этих слов, виновато закашлялась.

Быть людям неразлучными или не быть - это решают не сами люди. Или не только они... А в годы войны решают что-либо вообще очень немногие. Остальные подчиняются: приказам, командам и обстоятельствам.

Через месяц Александра Евгеньевна еще раз явилась к нам без всякого предупреждения. Явилась одна, хотя в последнее время не покидала по вечерам Нину Филипповну. Они так и ходили вдвоем, иногда даже держась за руки. Но Александра Евгеньевна, как поводырь, шла чуть-чуть впереди.

Мама, примостившись между окном и перекрашенным покрывалом, дымила в форточку. Казалось, она спряталась за черной материей, чтобы, неожиданно возникнув оттуда, как из-за занавеса, поразить меня каким-нибудь сюрпризом или фокусом.

Мама не догадывалась, что у нас гостя: дверь Александра Евгеньевна отворяла почти бесшумно. Она сделала знак, чтобы я не отрывал маму от ее занятия, что она пришла ненадолго. Но все же не хотела отрывать маму от того, что обычно вызывало ее протест. Размышляя о медицинских проблемах, она прежде ненароком сообщала маме, что считает курение "самой вредной и бессмысленной из привычек" и что страшные болезни века, в частности злокачественные опухоли, настигают курильщиков куда чаще, чем тех, кто не курит. Но мама продолжала дымить в форточку... Как многие врачи, она не следовала тем предписаниям и советам, которые с утра до вечера убежденно внушала своим пациентам.



"Махнуть рукой на себя - значит махнуть и на него!" Эту воспитательную фразу Александра Евгеньевна приберегала как решающую. И мама тогда не просто гасила папиросу, а ожесточенно расправлялась с ней, ввинчивая ее в пепельницу, кроша табак и разрывая папиросную гильзу. А через полчаса вновь вытаскивала из кармана синего пиджака помятую пачку. Я знал, что в дни испытаний достоинства прогрессируют, но и обнажаются слабости... Война усугубила единственный мамин недостаток: она стала курить с каким-то болезненным упоением.

Александра Евгеньевна приподнялась с тахты и снова присела.

Мама же, я догадался, пользуясь светомаскировкой, под защитой бывшего покрывала затянулась второй папиросой.

Александра Евгеньевна опять молча, еле заметным знаком попросила не мешать ей. Она намеренно оттягивала какой-то тревожный разговор, какое-то объяснение. Это мне стало ясно, когда ее сжавшееся, невесомое тело третий или четвертый раз вспорхнуло с тахты, чтобы сразу вернуться назад.

Наконец мама появилась, как из-за театрального занавеса.

Война уже отучила нас радостно или горестно вскрикивать по поводу мелочей. Но важность важного и ценность ценного возросли. Общение с близкими стало дороже, потому что было под угрозой, могло оборваться. Мама заторможено, будто преодолевая сопротивление воздуха, воздела руки к желтому круглому плафону, заменявшему абажур. В торжественные мгновения она воздевала к нему руки, как жрица к солнцу. Жесты мамы были неторопливы, даже громоздки. Это подчеркивало значительность событий, на которые она реагировала. А явления второстепенные мама жестикуляцией не удостаивала.

- Александра Евгеньевна?!

Гостя вспорхнула с тахты. И я заметил, что растерянность пригасила то мудрое сияние, которое обычно источали ее глаза.

Мама, как и я, не знала, в чем дело, но сразу же накрыла мою голову руками и притянула к себе.

- Не обижайтесь, милые мои, - начала Александра Евгеньевна. - Я сказала, что мы не должны разлучаться... И это истина. Но разве война считается с истинами? Вчера ко мне на работу позвонил сын... И сказал, что его научно-исследовательский институт эвакуируется в Сибирь. Он попросил меня поехать с его семьей. С внуками... С двумя внуками! Вернее, с внуком и внучкой. С Васей и Милочкой. Им дали имена бабушки и дедушки.

- По линии жены вашего сына, - холодно уточнила мама.

- Это объяснимо... понятно: того дедушки недавно не стало.

- И ваш муж тоже скончался, - одними губами напомнила мама.

- Но это было очень давно, - с несвойственной ей нелогичностью возразила Александра Евгеньевна.

- Могли бы почтить его память, - угрюмо поддержал я маму, относясь к Васе и Милочке с заочной враждебностью: из-за них мы могли разлучиться.

- Вспомнил о вас? - нервно осведомилась мама.

- Оказывается, он и не забывал! Были, поверьте, обстоятельства... о которых он обещал рассказать. Но не это главное.

- А что? - с нараставшей тревогой, будто голос ее поднимался по трудным ступеням, спросила мама.

- Он сказал, что не может оставить меня одну. В таком возрасте...

- А до сей поры почему оставлял? На целые годы!

- Существовали неизвестные нам обстоятельства... Поверь, Маша! К тому же я не была в опасности. То есть моя жизнь... А теперь он зовет меня. И я пришла посоветоваться.

- Вы уже все решили, - совсем глухо, точно голос ее по тем же ступеням спустился вниз, произнесла мама. - Акушер, как, и минер, принимает лишь окончательные решения. Вы так всегда говорили.

- Но сейчас я не в родильном доме. И хочу посоветоваться.

Серьезные решения мама на глазах у собеседников не вынашивала. Ее раздумья предпочитали уединение. Но иногда она напряженно стискивала пальцы,

будто важная идея была поймана и мама боялась ее упустить. ("Незаписанная мысль подобна птице, перед которой распахнули окно", - вспоминал я в таких случаях слова Нины Филипповны.) Мама упирала кулаки, которые не выпускали пойманную мысль, в стол и склонялась над ним, как над кафедрой или трибуной, словно собираясь произнести речь. А произносила всего несколько фраз. Но таких, которые подводили итог спору или беседе.

- Понять, как трудно расстаться, можно лишь... когда надо расстаться.

Ваш сын это понял. Значит, мы ошибались в нем. У вас один сын... как и у меня... Если бы он позвал, я бы поехала с ним. Куда угодно!

Мама прижала мою голову к себе так плотно, что сомнений не оставалось: разъединить нас нельзя.

- Значит, вам кажется...

- Надо ехать.

- Нина Филипповна поедет со мной. Одну я ее не оставлю... Ее роды были последними родами, которые я приняла. Хотя их надо было остановить, задержать. Но я не сумела... Она поедет со мной. Будет там преподавать в школе.

- Уйдет от нас? - печально произнес я.

- Не уйдет, а уедет, - поправила меня мама.

- Ты, Маша, я чувствую... не осуждаешь?..

- Наоборот, одобряю!

- А как же вы будете... без меня?

- Я бы выбрала сына.

Александре Евгеньевне стало легче. И все-таки ее характер продолжал быть непохожим на себя самого. Она не переставала оправдываться.

- И жена сына была очень мила со мной... вчера. По телефону.

- Надо ехать! - подвела итог мама. И еще раз скрылась за перекрашенным покрывалом.

Но чирканья спички я не услышал и дымного запаха не уловил. Вернувшись,

будто из-за театрального занавеса, мама закурила при нас. Папироса дрожала у нее между пальцами:

- А когда надо ехать?

- Эшелон отправляется завтра утром. Совсем рано... Чемодан за дверью. И сумка... Мы договорились, что Нина Филипповна подъедет завтра на рассвете, а я переберусь к сыну сегодня вечером.

- Мы вам поможем! - от волнения слишком бодро и деловито предложила мама. И, кроша табак, ввинтила папиросу в пепельницу.

Сын Александры Евгеньевны жил на шестом этаже. А лифт не работал.

Мама преодолевала лестницу с нарочитой усталостью, отдыхая на каждой площадке: она не торопилась расставаться с Александрой Евгеньевной. Хотя каждую остановку использовала для того, чтобы чем-то ее порадовать.

- Не было бы счастья, да несчастье помогло, - сказала она на втором или третьем этаже. - Конечно, эвакуацию счастьем не назовешь. Но возвращение к блудному сыну... который, как выяснилось, и не был блудным... Он был, я думаю, закрученным суетой. А война многое раскручивает, обнажает. Вот и удалось разглядеть...

Отдыхая на другом этаже, она добавила.

- В дни испытаний к нам иногда протягивается та рука, от которой мы помощи вовсе не ожидали. А та, от которой ожидали, бывает, прячется за спиной или в кармане.

Александра Евгеньевна покидала нас с тяжелым чувством, но с легким багажом. Ее чемодан и сумка были у меня в руках.

Покидать нас ей было стыдно, мучительно, но воссоединиться с вновь обретенным сыном так хотелось, что путь на шестой этаж казался ей вознесением к новой жизни.

"Тяжесть и легкость, радость и грусть... Они не размыкают рук для того,

чтобы человек не был ни безнадежно несчастным, ни безнадежно счастливым" - так ныне, через десятилетия после того осеннего вечера сорок первого года, размышляю я. Точней, восстанавливаю в памяти давнее, но нестареющее убеждение Александры Евгеньевны, высказанное ею еще в мирное время.

Звонок не работал... Но на первый же легкий стук Александры Евгеньевны откликнулась молодая женщина - очень доверчивая, потому что она даже не спросила из-за двери: "Кто там?" Я понял, что это жена сына Александры Евгеньевны, и сразу успокоился: выражение лица у женщины было такое, будто она работала в "Скорой помощи" и прежде всего хотела узнать, что с вами случилось и в чем вы нуждаетесь. Мама тоже расслабилась: женщине с таким лицом она могла доверить Александру Евгеньевну.

- Заходите... Заходите, пожалуйста!

Женщина даже попыталась схватиться за ручку чемодана. Но этого я не позволил!

Она провела нас в комнату, похожую на все комнаты той поры. Их вид определяли не шкафы и комоды, которые были, конечно, разными, а приметы опасности и тревоги. Окно было, как и у нас, занавешено, но только шерстяным пледом.

На стене я увидел фотографию молодого мужчины, добрая задумчивость которого напомнила мне пронизательное сияние Александры Евгеньевны. "Похож!" - молча, но с удовлетворением констатировала мама, переводя взгляд с портрета на Александру Евгеньевну.

- Это мой муж, - сообщила женщина. - Он сейчас где-то под Ленинградом.

- А где Валерий? - схватившись за спинку стула, спросила Александра Евгеньевна.

- Тут вот что вышло, - стала объяснять женщина - В связи с чрезвычайной обстановкой... Ну, вы понимаете? Эшелон отправили на целые сутки раньше. Валерий Аркадьевич и его супруга очень торопились.

Она назвала жену "супругой", и я понял, что отношения между ней и

"супругой" были неважные.

- А почему он... не позвонил? - ошеломленно присев на стул и схватившись за его сиденье, спросила Александра Евгеньевна. - На работу... можно было бы сообщить. Я как раз была там вчера весь день... Увольнялась.

- Они торопились, - потупившись, объяснила женщина. Но вдруг, вскинув голову, изменила тон. - Они же хотели, чтоб вы там нянчили внуков. А потом другая бабушка согласилась... Мать супруги Валерия Аркадьевича. Она помоложе, простите меня. Они вот и выбрали...

- А письмо он какое-нибудь оставил? Или адрес?

- Торопились они, - повторила женщина.

Мама торжественно и весело, с видом жрицы, воздела руки к незамысловатой люстре, у которой из трех лампочек светила лишь одна.

- Все прекрасно, Александра Евгеньевна! Мы остаемся вместе... Как вы и хотели! А сын вам напишет.

- Он не знает моего адреса. После смерти мужа я переехала...

- И он ни разу не был у вас? - спросила женщина, понимавшая, что "Скорая помощь" - это не только успокоительное средство, но, если нужно, и скальпель, и ампутация.

- Все прекрасно! - не дав Александре Евгеньевне ответить, продолжала мама. - Мы не разлучаемся! Как вы и хотели. Наш дом продолжает быть вашим домом. Все прекрасно! Не плачьте, Александра Евгеньевна... Все хорошо...

Война все упрямей убеждала меня: расставаться людям или не расставаться - это, увы, слишком часто решают не сами люди.

Я и мои приятели поняли, что через год, после девятого класса, должны разлучиться с родными и с домом, то есть уйти на войну. Поскольку я считался поэтом, мне поручили сочинить письмо в военкомат от имени мужской половины девятого класса "В". Я сочинил - и все расписались.

Единственное, чего я не представлял себе и чего представить было вообще невозможно, это как мама расстанется со мной.

Я тайно показал письмо Александре Евгеньевне. Ее пронзительно мудрые глаза выразили крайнее осуждение:

- Не подсказывайте стране, как ей обращаться со своими детьми. И когда рисковать ими.

- Но через год меня все равно призовут.

- На этот случай мама, как мне известно, все детально продумала.

- Что продумала?

- Она пойдет служить военным врачом туда, где будешь служить ты.

- Разве это возможно?

- Я ей посодействую, раз уж посодействовала твоему появлению на свет.

- А как вы это сделаете?

- Генералы, Сашенька, тоже начинают свой путь с родильного дома.

Александра Евгеньевна вернула мне письмо, осуждающе приподняв и опустив при этом свои плечики.

- Но как же я не пойду в военкомат, если все остальные пойдут? Сочинил письмо и вдруг...

- Ну идите.

Военком нас не принял. Мы обратились в коридоре к взъерошенному лейтенанту лет двадцати пяти, слегка прихрамывавшему, будто по вине неудобного, тесного ботинка.

Он скользнул глазами по моему сочинению. И почти на бегу проговорил:

- Знаем, знаем... Военком сказал, чтоб еще годик-два потерпели.

- Но через год война кончится! - разочарованно произнес кто-то за моей спиной.

Лейтенант уже был в другом конце коридора. Его не восхитило наше стремление отправиться на передовую (именно этого мы требовали в письме): он привык к подобным просьбам и требованиям, которые атаковали военкомат,

"Знаем, знаем..." - проговорил он.

"Откуда стало известно, что мы явимся с этим письмом?" - недоумевал я по дороге домой. Мои одноклассники на его слова не обратили внимания. Или решили, что "знаем, знаем" относилось ко всем добровольцам, от которых отбивался прихрамывавший лейтенант. Но я-то, подходя к дому, понял: нас опередила Александра Евгеньевна.

Конфликт между личным счастьем и долгом кто-то из мудрецов объявил самым неразрешимым. На эту мысль могли ссылаться и наши враги, многие из которых спутали понятие долга с огнеопасной привычкой бездумно выполнять любые приказы - даже страшные, даже чудовищные.

Но противоречие между счастьем и долгом война обнажила до предела, сделала очевидным для всех. И для Александры Евгеньевны тоже. Поэтому вскоре она, так боявшаяся разлуки, сама эту разлуку нам предложила.

Все, сотрясавшее нашу семью, как и сирена воздушной тревоги, врывалось в дом, когда окно было уже напрочь скрыто от глаз перекрашенным покрывалом.

Александра Евгеньевна пришла вместе с Ниной Филипповной, держа ее за руку, как поводырь. Это вновь была неожиданность, и мама, как жрица к солнцу, воздела руки к желтому плафону, заменявшему абажур.

- Мы ненадолго, - с порога предупредила Александра Евгеньевна. - Дело вот в чем... С Урала на сутки прилетел Ивашов. Он сейчас руководитель гигантской стройки. Первостепенного значения! - Она гордилась должностью Ивашова. - Хочет завтра видеть тебя, Маша.

- Что... что?!

- Именно тебя. Вместе с Сашей.

- Зачем?

- Надумал заняться поликлиникой для строителей. Нужен новый главный врач... Я порекомендовала тебя.



- Меня?!

- А кого же я еще могла порекомендовать?

- Себя!

- Он предлагал мне... Я не стала отказываться, но объяснила, что пригласить тебя гораздо целесообразнее. И он согласился. А мы с Ниной останемся здесь. И будем вас ждать.

Она говорила торопливо, чтобы не дать маме опомниться, возразить.

- Ты же хотел на передовую? - обратилась ко мне Александра Евгеньевна.

- Считаю, что твоя просьба удовлетворена. Ивашов на этой передовой поседел. Совсем поседел! Вот и получается... С одной стороны, фронтовые задания, от которых можно и поседеть, а с другой, отдохнете от бомбежек и затемнений.

Деловитостью и телеграфной чеканностью тона Александра Евгеньевна давала понять, что предложение ее дискуссии не подлежит.

Она присела на диван и сжалась так, что мне показалось: еще чуть-чуть - и она вовсе исчезнет.

- Ивашову сейчас отказывать нельзя: он тоже круглый сирота.

Она обняла Нину Филипповну.

- То есть... как? - спросила мама.

- У него дочь погибла. Там, на стройке. Ляля... Красавица! В десятом классе училась. - Александра Евгеньевна достала свой ветхий блокнот, склеенный возле корешка. Нашла страницу, где была черная рамка. И внутри ее под именем жены Ивашова с траурной замедленностью сумела вписать: "Ляля-маленькая". - Жену его тоже Лялей звали, - пояснила она. И продолжала: - Цех на морозе строили. Раствор раньше времени застывал, не схватывал кирпичи... Не цементировал стену, как полагается! И она обвалилась.

- А Ляля почему там оказалась? - испуганно прошептала мама. Она вспомнила, что и я девятиклассник.

- Школьники строителям помогали. Задание выполняли какое-то сверхсрочное... Ивашов поседел. Ему еще трудней, чем другим круглым сиротам:

виду показывать не имеет права. Должен оставаться источником оптимизма... похоронив дочь.

Ивашов принял нас в кабинете, дорога к которому трижды преграждалась проверкой документов и пропусков.

Когда мы четверо вошли и увидели его, мама поспешно окунула руки в карманы синего пиджака. Она часто крошила табак - и пальцы правой руки пожелтели. Но Ивашов об этом не догадался: мама спрятала руки как бы по привычке и с грациозностью, мне еще незнакомой.

Он легко наклонился и поцеловал Александру Евгеньевну. Потом столь же легко распрямился, поправил ладную гимнастерку и пояс. Таким я и представлял себе людей, которых именовали командирами производства. Без воинских знаков различий на петлицах Ивашов все равно выглядел командиром. На вид ему было лет сорок пять. Хотя голова была снежно-белая.

Он, мне казалось, сошел со сцены или киноэкрана (очень уж правильными были черты лица и статной фигура!). Но ничего дежурно-плакатного не наблюдалось, хотя бы потому, что лицо было обескровленным, бледным.

По-домашнему свойским кивком головы он объяснил, что многое знает о нас со слов Александры Евгеньевны. А затем, не таясь, дав понять, что время у него на жестком счету, сразу же приступил к делу:

- Меня вот что волнует: люди не желают лечиться. Стыдятся, что ли... Дескать, отложим до лучших времен! Но чтобы лучшие времена наступили, их надо завоевать. А для этого необходимо здоровье! Слабыми руками с сильным врагом не справишься. Поликлиника же на стройке пустует... Не потому, что все такие здоровые, а потому, что самоотверженные! Но самоотверженность требует крепкого организма. Вы согласны, Мария Георгиевна?

Он уже знал, как зовут маму, как зовут меня и Нину Филипповну: на знакомство у него времени не было.

- Прошу вас, - сказал он маме, - вместе со мной заставить людей сберегать здоровье, укреплять силы. Согласны?

- Согласна, - ответила мама. Потому что ничего другого ему ответить было нельзя.

Отвечая, мама высоко вскинула ресницы, и я впервые увидел в глазах ее прилив цвета морской синевы. "При чем тут синий чулок? - мысленно, но протестуяще воскликнул я. - И при чем тут синий пиджак? У нее глаза синие..." Ивашов, по-моему, тоже обратил на это внимание. И нарочно заговорит о другой женщине:

- Есть у нас одна скромница, замечательный инженер... Так она вслух, на планерке, опровергла лозунг "В тылу как на фронте!" Сочла его не соответствующим действительности. "Спим все же в постелях. И в атаки поднимаемся более безопасные - не навстречу автоматным очередям". Так и сказала. Я с ней согласен! Но, однако, должен предупредить: утренних, дневных и вечерних смен у нас нет. Все это перемешалось: работают по двенадцать, по четырнадцать часов, а случается, круглыми сутками! Когда кто сможет обратиться за медицинской помощью - предугадать нельзя. Поэтому и поликлиника будет работать безостановочно! Дежурства установите... Но чтобы двери для помощи были, так сказать, широко распахнуты. Не заперты ни на минуту! Вы к этому готовы, Мария Георгиевна?

- Я готова.

Мама отвечала на его вопросы сразу же, не задумываясь, утратив свою обычную размеренность, неторопливость. Это Ивашова устраивало. Поняв, что с мамой все ясно, он повернулся ко мне:

- Ты, Саша, окончишь девятый класс. А там уж посмотрим. Вот таким образом! Моя дочь в десятом классе училась... - Он горестно всклокочил белые крупноволнистые волосы. - Она была чем-то похожа на вас, Нина Филипповна... Вот таким образом...

- А Саша, Иван Прокофьевич, сочиняет стихи, - чтобы переменить тему, объявила Александра Евгеньевна. - Он даже печатается.

- Напечатался один раз, - уточнила мама.

Мне тоже показалось, что Ивашову можно сообщать лишь точные сведения.

- О чем же ты пишешь?

- О войне, - сказал я, имея в виду поэму, посвященную дворнику.

Не мог же я сказать, что пишу про любовь!

- Почитай, - предложил Ивашов. - Хотя бы четыре строчки!

Но я от смущения ни одной строчки не вспомнил. Он сразу вошел в мое положение.

- Ну, ладно. Как-нибудь потом! Я тоже в юности сочинял. - Он улыбнулся.

Зубы его были в таком тесном и ровном строю, что для них, как я позже узнал от Александры Евгеньевны, Ляля до войны придумала название: "Враг не пройдет!"

- Запомни его лицо... - шепнула мама, когда мы вышли на улицу.

- Какое достоинство в нем самое главное? - неожиданно и тоже почти шепотом спросила Нина Филипповна.

- Великодушие, - ответила Александра Евгеньевна. - Он бы мог меня ненавидеть: его жена умерла в моем родильном доме. Моем! Хотя меня в тот момент и не было, но все равно... Он имел право ассоциировать меня с одним из двух своих главных несчастий. И винить в нем! А он?.. Некоторые путают доброту со слабостью. Ивашов же в любых условиях добр и смел. Война, а он хочет, чтоб люди лечились. Я, Нина, привела тебя для того, чтобы ты увидела: человек перенес такие беды, но живет. И действует! Понимаешь?

Нина Филипповна ничего не ответила.

- Теперь погибла и дочь, во время родов которой... погибла жена. Мог бы ожесточиться.

Мы шли по улицам, а над головой, приготовясь защищать нас, висели аэростаты. Беды, которые обрушились на Ивашова, были столь тяжкими, что даже при мысли о них мы все четверо сгорбились.

Нарушая молчание, мама спросила:

- А почему все-таки вы, Александра Евгеньевна, отказались поехать?

- Стара уже менять обстановку.

- Бойтесь, сын не найдет? - склонившись к ее уху, прошептала мама. Но я услышал. - Это могу понять. Вдруг опомнится?

- И Нину одну не могу оставить, - не опровергнув мамино предположения, добавила Александра Евгеньевна.

- Она бы с вами поехала.

Нина Филипповна отрицательно покачала головой:

- Колину могилу хочу найти.

При поликлинике был одноэтажный флигель, где размещались процедурные кабинеты. На двери последней комнаты висела табличка "Массаж". Но так как никто в ту пору не массажировался, Ивашов прикачал отдать комнату нам с мамой. Мы решили, что мама будет спать на узкой медицинской кушетке, где раньше располагались больные, а я на полу, потому что ничего, кроме стула и стола, в комнате не умещалось. Окошко было задернуто со стороны улицы сплошной пушистой занавеской. Точней, она была приклеена морозом к стеклу. Занавеска была сероватого цвета, как и снег, перекрашенный, но только не человеческими руками, а ТЭЦ, ни секунды не отдохавшей, извергавшей, подобно просыпающемуся кратеру, необъятные тучи гари. Морозная занавеска в нескольких местах как бы протерлась, истончилась, и я сквозь эти просветы увидел строителей, возвращавшихся с разных объектов. Они брели в одинаковых ватниках, валенках и ушанках, не разговаривая друг с другом: наверно, не было сил общаться.

Внезапно к поликлинике подкатила "эмка", напоминавшая прямыми линиями стародавнюю карету, но только без лошадей.

- Ивашов! - крикнул я маме, распаковывавшей багаж.

- У нас все раскидано... Неубрано!

Она стала панически забрасывать вещи обратно в чемоданы, в корзину. И когда раздался короткий, но мягкий, учитывавший свою неожиданность стук, мы оба уже сидели на кушетке, а багаж был под ней.

- Ну, как новоселье? - спросил Ивашов. - Тут, я вижу, как в конспекте: ничего лишнего. Но конспект, увы, еще не произведение!

Мама вскочила с грациозностью, которую я наблюдал уже второй раз. Руки она, как и при первой встрече, игриво окунула в карманы пиджака.

- Мы всем очень довольны, - сказала мама.

Высоко вскинула ресницы - и я опять увидел в ее глазах морскую синеву. И вновь про себя отметил, что к "синему чулку" и "синему пиджаку" эта синева отношения не имела. "Почему мама всегда как бы прячет свои глаза? - думал я.

- Почему приливы женственности в них так редки? Думает, что мне все это не нужно?.. А тогда не нужно и ей? Как-нибудь дам понять, что она заблуждается!"

- Располагайтесь, Иван Прокофьевич! - без всякой хрипоты и прокуренности в голосе пригласила мама.

- Как тут располагаться? Присесть можно было бы, да некогда. - Ивашов обратился ко мне: - Где будешь спать?

- На полу.

- Романтично! Я в детстве почему-то всегда мечтал спать на полу.

Правда, ты уже не ребенок.

Он почти дословно повторил то, что сказал герой моей поэмы - дворник, спасший нам жизнь.

- Матрац принесут... Вообще в случае чего обращайтесь к моему заместителю по хозяйственной части. Фамилия его Делибов. К автору оперы "Лакме" отношения не имеет. У него даже слух скверный. Но вас он услышит! Я дал команду... Вот таким образом.

С понедельника я собрался продолжить свой последний учебный год.

А в воскресенье, около семи утра (я запомнил, что было около семи, потому что будильник возвестил с подоконника, что маме пора вставать: поликлиника, как и все объекты строительства, работала без выходных), к нашему флигелю опять подкатила "эмка", напоминая стародавнюю карету. Я узнал ее по голосу: мотор от возраста стал чересчур говорливым.

- Ивашов! - крикнул я.

Мама схватилась за гребень и стала с ожесточенной торопливостью расчесывать волосы. Поспешно надела свой синий пиджак, спрятала руки в карманы.

И стук раздался ивашовский: учитывавший свою неожиданность, тем более в раннюю пору.

- Входите! - необычным, чересчур игривым голосом пригласила мама.

На пороге стоял пожилой человек. Его застенчивость не гармонировала с грубостью ватника и растопыренной ушанкой, напозавшей почти на глаза. Он, как многие, робел в медицинском учреждении. Ивашов выбрал шофера согласно собственным представлениям о нормах общения между людьми.

- Входите, - с некоторой разочарованностью повторила мама.

- Наслежу вам... Иван Прокофьевич просил привезти...

Слово "просил", необычное для того времени и той обстановки, прозвучало так естественно, что я понял: Ивашов приказывал лишь в исключительных случаях.

- Я мигом... Я готова! - с несвойственной ей судорожной активностью воскликнула мама.

- Простите... - Шофер, извиняясь, развел руками. - Он Александра Гончарова просил привезти.

- Кого?! - переспросила мама.

- Гончарова. Это, он сказал, будет ваш сын.

- А зачем? - уже с тревогой поинтересовалась мама. То, что касалось меня, перебарывало в ней все другие чувства и настроения.

- Вы не бойтесь, - успокоил шофер. - Дело к нему есть какое-то. И тут еще... Чуть не забыл! - Он снял рукавицы, достал из кармана бумажку. И прочитал. - "Обязательно захватить стихи!" К семи двадцати просил привезти.

- Одного?

- Со стихами.

- Но без меня?

- Видать, так.

Помощница Ивашова Тамара Степановна смотрела на своего начальника с той же восторженной растерянностью, что и мама, хотя видела она его, вероятно, каждый день. И еще в ее взгляде, как и в мамином, было понимание того, что на Ивашова она может с восторгом только взирать. Так мне показалось.

- Наш разговор с Гончаровым продлится двадцать минут, - сказал Ивашов.

- Соединяйте меня только по срочным вопросам. Остальное записывайте, пожалуйста.

- Понимаю, - ответила она. И исчезла за дверью, которая была обита шоколадного цвета материалом, похожим на кожу и разделенным золотистыми нитями на аккуратные ромбики.

Кабинет показался мне огромным, как зал. Я никогда в таких не был. Поперечное завершение стола, выстроенного буквой "Т", было уставлено черными телефонами.

Я по гостеприимному указанию Ивашова опустился на стул, а руки положил на зеленое сукно, точно приготовился заседать.

- Я буду здесь, чтоб не вскакивать к телефонам, - объяснил Ивашов. -

Как мама?

- Работает.



- Это - главное. Работа утомляет, но и спасает. (Думаю, это он про себя сказал.) Если человек хочет перенести непереносимое, он обязан думать о работе круглосуточно. Только о ней! (Это он уже явно сказал самому себе.) Теперь по поводу тебя, Саша... Стихи привез? - Он взглянул на тетрадку, которую я держал в руках. - Вижу, привез... Сколько их там?

- Здесь поэма.

- Поэма?!

- Всего пять страничек.

- Тогда читай. Как называется?

- "Прямое попадание".

Я начал, запинаясь, читать.

- Читай нормально, - сказал Ивашов. - Я хочу иметь точное представление.

Это прозвучало приказом, и я взял себя в руки. Поэма заканчивалась четверостишием, посвященным, как и вся она, дворнику, который спас нам с мамой жизнь:

В скорби даже зенитки

умолкли на крышах,

В скорби улицы все

погрузились во тьму...

И хоть он не услышит,

никогда не услышит,

"Я уже не ребенок!" -

говорю я ему.

- В этом мне и нужно было убедиться, - медленно произнес Ивашов.

- В чем?

- В том, что ты уже не ребенок. Я-то как раз хочу, чтобы дети и во

время войны оставались детьми. Но тебе уже семнадцать... В таком возрасте войсками командовали и создавали выдающиеся произведения.

Я понял, что мою поэму он выдающейся не считал.

- Конечно, сочинять поэмы в семнадцать лет - это одно, - продолжал Ивашов, - а выдерживать нечеловеческие испытания... сражаться и погибать... это другое.

Дверь с аккуратными ромбиками наполовину открылась, и Тамара Степановна, подняв на Ивашова все те же растерянно-восторженные глаза, сообщила:

- На проводе Москва.

Во время чтения поэмы ни Москва, ни Тамара Степановна перебивать меня не пожелали.

Я чувствовал, что Ивашов разговаривает с кем-то очень значительным, хотя он не поднялся со стула и не изменил тембр голоса.

- Сделаю все возможное, - сказал он. И, выслушав какое-то возражение, ответил: - Я про себя сказал... А люди только и занимаются тем, что делают невозможное.

Опустив трубку, он тем же спокойным голосом продолжил беседу со мной:

- Так вот... У нас тут издается газета. Правда, всего на двух полосах.

- Он взял со стола и протянул мне газетный лист формата "Пионерской правды".

- Называется "Все для фронта!". Не очень оригинально, но выражает главный смысл того, что мы делаем. Газета ежедневная, а в редакции всего два работника - редактор и машинистка. Фактически даже один: у машинистки малые дети - то они болеют, то она сама. Увольнять жалко, не будем. Я дал команду машинописному бюро: пусть помогают! Среди эвакуированных обнаружили студентку филфака - будет корректоршей. А вот литературного сотрудника нет... Им будешь ты.

- Я?.. А школа?

- Придется отложить до победы. Повторяю: я хочу, чтобы дети были

детьми, а школьники - школьниками. Но чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений! Некоторые считают, что и у детей все должно быть до предела напряжено. Я не согласен! Пока можно уберегать от пекла, надо уберегать. Ну, а если... Тут уж ничего не попишешь. - Он затих на мгновение.

- Твою будущую работу я бы пеклом не стал называть. Зачем же преувеличивать? Но отвечать за газету, как и редактор Кузьма Петрович, будешь по-взрослому. Не ребенок так не ребенок!.. Судя по твоим стихам и рекомендациям Александры Евгеньевны, ты можешь справиться. - Его глаза вопросительно прицелились в меня. - Слова "прямое попадание" имеют не только отрицательный... страшный смысл. Смотря кто и куда попадает! Вот я, к примеру, надеюсь, что твое назначение будет моим прямым попаданием. А надежды начальника стройки в военное время должны сбываться!

Глаза все еще изучающе целились в меня.

- В каких же условиях тебе придется доказывать, что мое попадание было прямым? Обрисую в общих чертах. Типография от нашей стройки - в пятнадцати километрах Там районный центр... Не скрою: после рабочего дня у тебя будут рабочий вечер и рабочая ночь в типографии. А возвращаться с газетами придется иногда и под утро... Три-четыре часа поспишь - и снова в редакцию. Война пересматривает все: психологию, организм. Злоупотреблять этим, конечно, без надобности не следует. Я часто слышу: "Отсыпаться будем после победы". Почему? Если выдастся лишний часок отдохнуть, отдохни! Будет польза не только тебе самому, но и общему делу. Бог таким образом... Надо сберечь для людей все, что можно сберечь из нормального, мирного бытия. До тех пор, пока можно... Тебя вот придется от школы временно оторвать. Ничего не попишешь! Некоторых война в твоём возрасте оторвала... от самой жизни.

Он снова затих на мгновение.

- Строительство у нас необъятных размеров. Участков, знаешь, сколько? Пока не скажу: военная тайна. Вот когда будешь оформлен по всем правилам... Газета объединяет людей. Восхищаются ими... А это дополнительные калории! В

продуктах недодаем, так хоть здесь... Редактор Кузьма Петрович публикует сводки со стройучастков рядом со сводками Совинформбюро. Это поднимает людей в их собственном сознании. Печатное слово гораздо сильнее, чем слово произнесенное. Гораздо сильнее! Поэтому признания обыкновенных влюбленных прошлого века канули в Лету, а поэтов - остались, живут. Кстати, ты стихов о любви не пишешь? Я в юности о любви сочинял. А ты?.. Но на эту тему говорить полную правду ты не обязан. Александра Евгеньевна как-то пересказала, помню, слова философа: тот, кто утверждает, что говорит одну только правду, уже лжет. И пояснила: "Разве можно, к примеру, сказать матери, что ребенок ее безнадежно болен? Надо вселять надежду, пока вселяется!" Так пишешь ли ты о любви?

- Писал.

- Стихи о любви в газете публиковать надо. Не только же о бетоне и сварке! Люди должны чувствовать, что жизнь продолжается... Битва и жизнь!

Возле управления строительством меня поджидала мама. Она была не в состоянии ждать моего возвращения где-то вдали.

- Зачем он тебя вызывал?

- Буду работать в редакции.

- В редакции?! Кем?

- Литературным сотрудником.

- А как же школа?

- Он сказал, что окончу ее после победы.

- Но ведь ты же еще...

Мама осеклась. Думаю, вспомнила дворника, не пустившего меня в бомбоубежище.

Сама мама испуленно выполняла приказ Ивашова: заставлять лечиться всех, кому это необходимо.

- Если бы можно было приказывать и начальнику стройки! - сокрушенно сказала она.

- В каком смысле?

- Других заставляет лечиться, а сам не хочет.

- Ему... нужно?

- А бледность? Ты что, внимания не обратил?

- Обратил.

- Я попросила по телефону зайти в поликлинику. Хотя бы провериться. Он ответил: "После победы". Но до победы надо дожить.

- Ты так ему и сказала?!

- Что же мне оставалось? Он рассмеялся: "Не дожить не имею права!"

В коридоре поликлиники и даже на некоторых стройучастках вывесили плакаты с одним и тем же текстом, который сочинила мама: "Пренебрегая здоровьем, вы наносите ущерб стройке!"

Начала она с фронтовиков, перенесших ранения, контузии, и с дистрофиков, которых даже некоторые врачи и медсестры именовали "доходягами". Мама на первой же летучке запретила употреблять это слово.

- Доходяги? Мы должны вернуть им нормальную походку. Чтобы дошли до победы! - сказала она. - Начальник строительства поручил составить список особо нуждающихся в дополнительном питании. Предупредил, чтобы список был не слишком уж длинным. Но тем, кто заметно ослаб, он поможет.

Пересказав мне все это, мама добавила:

- Я срочно обязана похудеть: неловко заниматься дистрофией, обладая такими габаритами.

Я подумал, что дело, которое поручил Ивашов, поможет маме сбавить в весе без специальных усилий с ее стороны.

Накануне того дня, когда мне предстояло начать работу в редакции, мама

привела меня в свой кабинет. Там находился мужчина, который спокойно сидеть не привык: он то поглядывал на часы, то без надобности вскакивал со стула, то оборачивался, точно кого-то ждал. Меня он не ждал - и удивился моему появлению. От неожиданности даже поднялся, и я увидел, что левый рукав его гимнастерки пуст и заправлен за пояс. Веснушки, беспорядочно и обильно рассыпанные по лицу, были цвета его рыжих, стоймя стоявших волос.

- Познакомьтесь: мой сын, - представила меня мама. - Пусть послушает.

- Он собирается стать врачом?

- Нет... Но ему надо послушать.

Мужчина взглянул на часы, вновь приподнялся, давая понять, что свободное время уже истекает. Без движения он существовать явно не мог.

А мама в это время говорила своим низким, хрипловатым и оттого приобретающим еще большую убедительность голосом:

- Одно свое ранение вы спрятать не можете. - Она указала на пустой рукав. - А вот другое, не менее серьезное, потому что пуля угодила в живот, вы скрывали. Даже от врачей! А между тем вам категорически противопоказано много ходить, вообще резко и быстро передвигаться.

Но мужчина даже в медицинском кабинете только и делал, что двигался.

- Вам нельзя ездить в грузовике. И тоже категорически! Все это - бегать по разным объектам, трястись в кузове - отныне за вас, Кузьма Петрович, будет мой сын.

Я сообразил, что передо мной ответственный редактор газеты "Все для фронта!"

- Я привела сына не для того, чтобы познакомить с вами, а для того, чтобы он в этом кабинете услышал, узнал о вашем физическом состоянии. И понял, что должен оберегать вас!

- Александр Гончаров! - изумился Кузьма Петрович.

- Саша, - ответил я.

Он вскочил, снова сел... И спросил маму:

- И вы Гончарова?

- И я.

- Мне сказали: "Вызывает главный врач". А фамилия ваша на стройке еще не приобрела популярности. Но приобретет!

- Почему вы так думаете? - негромко любопытствовала мама.

- Приобретет! Чувствую, что поликлиника становится еще одним ударным объектом. - Повернувшись ко мне, он объявил: - Правая рука у меня есть своя. Значит, будешь моей левой рукой! Она даже важнее, потому что ее у меня нет.

Как и предупреждал Ивашов, трудно было определить, когда на стройке начинался и когда заканчивался рабочий день - он попросту не прекращался. У завода, без продукции которого фронт обойтись не мог, погибли все родные братья... И он был обязан работать, выбиваясь из сил, за себя и за них.

- Сейчас его телосложение можно назвать атлетическим, - сказала мама, - а должно оно стать богатырским!

Это и было целью Ивашова, Кузьмы Петровича... А теперь уж и маминой целью. И моей тоже.

Кузьма Петрович, который в отличие от мамы часто пользовался армейской терминологией, обрисовал ситуацию другими словами:

- Если подсчитать цеха и разные другие объекты военных годов рождения, можно сказать, что батальон превратили в дивизию. А теперь будем увеличивать дивизию до масштабов корпуса, армии и целого фронта.

Он сказал не "будут", а "будем" и вопросительно посмотрел на меня.

- Ты - за это?

- За это.

Тогда он разъяснил, как мы конкретно начнем содействовать тому, чтоб дивизия разрослась до корпуса и даже более грандиозных размеров.

Он безостановочно передвигался по комнате, в которой размещалась

редакция, попутно пробегая пальцами правой руки, которую словно бы тренировал, то по столу, то по телефонной трубке, то по стопкам заметок и писем. Мама запретила ему резко обращаться с самим собой, но он об этом забыл. Ранение и контузия, задев жизненно важные центры, чудом не коснулись центра, вырабатывавшего энергию. Лишь двигаясь, он мыслил, распоряжался и объяснял:

- Сперва я один управлялся со всеми делами. Потом, правда, сына-шестиклассника и его приятеля Диму на помощь мобилизовал. Но Ивашов эксплуатацию детского труда запретил. Что ж, я - за это! Не от хорошей же жизни мальчишек по морозу гонял... Ивашов приказал учредить редакционные посты и на всех объектах найти внештатных корреспондентов. Я учредил и нашел... Теперь статьи и заметки стекаются! Но это всего-навсего стройматериалы. Из них еще надо сооружать газетные номера. Этим мы с тобой и займемся. А потом ты, брат мой, будешь трястись в грузовике: вечером до типографии, а поздней ночью обратно. Уж извини: мне медицина трястись запретила. Да я и сам ощущаю... Но у тебя будет попутчица - корректор Ася Тропинина. Толковая и, я скажу, для войны слишком интеллигентная. Одним словом, ленинградка! Оберегай ее... Она родителей своих и бабушку в прошлую блокадную зиму похоронила. Ты заботься о ней. Ну например, как даму сажай с шофером, а сам залезай в кузов. Тоже будет интеллигентно!

Если одно из двух окон зашторено, другое все равно сообщает людям на улице: яркий в комнате свет или тусклый, или вовсе погашен. У Аси Тропининой один глаз был как бы зашторен густой, непроницаемой прядью волос, а другой давал понять, что душа ее погружена в беспросветность такого горя, с которым невозможно расстаться, потому что его нельзя до конца осознать: полная осознанность предполагает и завершенность.

Аскетически худое лицо было не то чтобы красивым, но было значительным, как изваяние. Под Асиным портретом, если б такой существовал, можно было бы написать: "Все потерявшая".



Нина Филипповна, Ася... Ивашов... Как изобретательна была в своем садизме война: она убивала, сжигала, разрушала надежды, семьи и города. Люди теряли друг друга на время и на веки веков. А некоторые теряли вообще все, кроме жизни. Но может быть, для них легче было потерять жизнь? Ася Тропинина, моя сверстница, уже называлась студенткой.

- Ты вундеркинд? - с бестактной шутливостью спросил я.

Она прижалась к стене. Быть может, услышав немецкое слово? Ее деликатность была безоружна перед любой грубой или неуместной фразой. Ася ужасалась бестактности растерянно, молча. Прижималась к стене, точно хотела провалиться сквозь нее в буквальном смысле.

- Я просто удивился, что ты так рано успела...

- Мама с папой и бабушка хотели, наверно, чтоб я при них успела окончить школу и при них поступить в университет. Так мне кажется.

Внезапно она оторвалась от стены, сжала руками голову и закричала:

- Их нет! Их нет!.. И никогда больше не будет!

Я окаменел... Потому что это был крик тихого, даже бесшумно передвигавшегося человека.

Опустившись на корточки, Ася содрогалась от бессилия что-то исправить, вернуть.

Я не утешал ее. Да она и не услышала бы меня! Я помнил пересказанные как-то Александрой Евгеньевной слова философа о том, что наше отчаяние почти всегда сильнее причин, его породивших. Но такие причины философу и во сне привидеться не могли.

Все кончилось столь же внезапно, как и началось. Ася затихла, поднялась. И сказала:

- Прости, пожалуйста!

"...Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...". Ася же не проявляла характера, пока не садилась за свой корректорский столик в типографии. Там к ее чрезмерной для военного времени интеллигентности

добавлялось еще одно качество: болезненно обостренная добросовестность.

Склонившись над столиком, подметая его густой темной прядью волос, она вычитывала заметки перед тем, как они отправлялись в набор. А потом, уже в сырых гранках, опять вычитывала и правила...

- Зачем ты? - неуверенно возражал я. - Наборщик и печатница ждут. У них дома семьи! Так мы и к утру не успеем.

- Не торопи меня... Это же русский язык!

"Это же русский язык!" - таким был Асин аргумент, который задерживал газету и нас всех в типографии. Она не могла допустить, чтоб этот язык был унижен хоть одной корявой фразой даже в пятистрочном объявлении или в информационной заметке.

Ручной печатный станок начинал обычно с бездушным однообразием стучать в полночь.

Но задолго до этого, часов в десять вечера, а то и раньше, к нам непременно вваливался шофер Эдик и провозглашал:

- Скоро вы там?

Ася молча ужасалась и тому, что он без спроса заглядывал в гранки, определяя, много ли правки, и тому, что он, не снимая полушубка и казавшейся нам пижонской шапки из кроличьего меха, вразвалку расхаживал по типографии, и тому, что торопил, подгонял нас.

Торопился Эдик всегда. Он сваливал это на жесткие требования военного времени. Но на самом деле он постоянно должен был успеть что-то сделать для табельщицы Лиды, работавшей в транспортной конторе. Она была известна как запевала в самодеятельном хоре. Эдик привозил ее на работу, высаживая метров за сто от транспортной конторы, за поворотом, и отвозил домой. Он успевал съездить в соседнюю деревню и достать для нее кое-какие продукты. В дни концертов самодеятельного хора он доставлял Лиду к Дому культуры.

Эдик гордился своими отношениями с запевалой и даже внешне старался соответствовать ее популярности. Асю Эдик не мог воспринять. Все в ней было

антиподно табельщице Лиде. Звезда самодеятельности должна была ободрять зрителей жизнеутверждающим обаянием - и делала это с успехом. А корректорша (так он именовал Асю) была погружена в безысходность. У Лиды был захватывающий голос, а корректорша при Эдике мрачно немела.

Слово "шофер" к Эдику не имело отношения: он называл себя только "водителем", а если по имени, то Эдуардом. Всем своим видом он показывал, что водитель обязан спешить. Его якобы ждали дела недоступной нашему пониманию важности. А подстегивали тайные, неведомые нам задания. В действительности же его всем известной тайной была табельщица Лида и ее актерские нужды. Навстречу им он и гнал грузовик с адской скоростью.

Как бы поздно я ни возвращался домой и как бы ни распоясывался мороз, мама стояла на улице, возле окна нашей комнаты, которое расплывчато светилось сквозь пушистую морозную занавеску, и ждала меня. Я приподнимался на цыпочки, чтобы из-за водительской кабины меня ясней было видно, и махал ей рукой. И даже кричал: "Все нормально!"

В районной типографии наши статьи и заметки набирали медленно, допотопным ручным способом. И если мороз к вечеру зло укреплял свою власть, проникал сквозь прохудившуюся дверь в одноэтажный кирпичный дом, я согревался на табуретке в корректорской. Комнатушку даже окнами обделили, но от этого в ней было теплей и уютней, чем в типографском цехе.

Ася и я с разных сторон тесно притирались к столику, заваленному оригиналами, гранками, верстками. Запахи металла и краски, которые, перемешиваясь, заполняли корректорскую, стали для нас привычными и даже необходимыми.

Ася упиралась в столик тем же недвижимым, остекленевшим взглядом, как

тот, на который я наткнулся, будто на тяжелый предмет, встретившись с Ниной Филипповной после гибели ее мужа.

Однажды мне показалось, что Ася вот-вот снова сожмет голову и закричит: "Их нет! Их нет!.. И никогда больше не будет!.." Я должен был броситься наперерез, упредить, предотвратить этот крик.

И я сказал с загадочной интонацией:

- Целый день хочу прочитать тебе стихи. Но как-то все не решаюсь.

Она не оторвалась взглядом от столика.

- Свои стихи! - сказал я.

Она подперла голову истонченными блокадой руками - дала понять, что слушает.

Поэму свою я наизусть не помнил. И мне пришлось читать стихи о любви. Каждое четверостишие начиналось словами: "Люблю тебя!" Голос мой срывался, как бы трескался от смущения. Но можно было подумать, что от любви!

- Ты это давно сочинил? - спросила Ася.

Надо было упредить, предотвратить - и я ответил:

- Вчера.

- А кому они...

- Догадайся, - мягко и таинственно перебил я. - Подумай сама.

Она подумала... И на следующий день Эдик, который из всех тормозов признавал только автомобильные, брякнул:

- Что это с ней?

Ася была в том же пальтишке, не учитывавшем уральские холода, в том же платье, сшитом, что было заметно, еще в до-блокадную пору. Но что-то изменилось, произошло...

Наборщик и печатница исподтишка также пытались понять, что случилось с Асей: опечатки уже не повергали ее в такое уныние, как накануне. Она продолжала отстаивать чистоту русского языка, но не бросаясь на амбразуру из-за каждого не вполне совершенного оборота. Она по-прежнему педантично

исполняла служебный долг, но принадлежала теперь не только ему. "А чему же еще? - раздумывал я. - Неужели мои стихи или чувства, в них выраженные, но не точно ею разгаданные, изменили ее?" В конце концов я нашел первый ответ. Моя любовь не нужна была Асе, но ей нужно было спасение от одиночества... И она ощутила надежду.

Мне чудилось, она чего-то ждала. В прозе я не мог ответить на ее ожидания, и я прочитал еще одно стихотворение про любовь.

- Перепиши... и подари мне, - попросила она.

- Одно или оба?

- Оба... У тебя хороший русский язык.

По мнению Ивашова, стихи о любви доказывали людям, что жизнь продолжается. Как раз в этом доказательстве и нуждалась более всего Ася Тропинина.

Кузьма Петрович был на работе с семи утра, потому что в это время со стройучастков приходили за газетами, которые я ночью прямо из типографии завозил в редакцию. Каждому участку полагалось определенное количество экземпляров. Кузьма Петрович натренированными, но постоянно ощущавшими свою двойную ответственность пальцами правой руки отсчитывал и раздавал газетные номера. Пачки таяли - и он наблюдал за этим с большим удовольствием. Похожее выражение лица было у дежурного по вокзалу в Москве, который на моих глазах отправлял эшелон за эшелонами по маршрутам, определенным нуждами фронта. Хотя поезда уходили в противоположном от фронта направлении.

Раздавая газеты, Кузьма Петрович священнодействовал. Я наблюдал это, когда несколько раз, в самом начале, тоже явился на работу к семи часам.

- Ты должен приходиться к девяти, - не просто сказал, а распорядился

Кузьма Петрович. - Война несправедлива, так пусть мы, ненавидящие ее, будем повышенно справедливы! (Мне казалось, это какая-то цитата из Ивашова.) Я

сплю по ночам, а ты нет. Значит, являться по утрам мы в одно и то же время не можем. Устанавливаю для тебя рабочий день с девяти. Вырвать у напряженности нашего времени два часа сна, покоя - это, брат мой, уже кое-что.

Те же рассыльные, которые забирали газеты для стройучастков, приносили статьи и заметки от наших собственных корреспондентов.

- Движение в оба конца! - говорил Кузьма Петрович об этом порядке, который незадолго до моего появления установил Ивашов.

Мы с Кузьмой Петровичем усаживались за "редактуру".

- Ты знаешь, что говорит Ивашов? Печатное слово гораздо сильнее, чем слово произнесенное. Поэтому надо строго выверять это слово!

Не только женщины были влюблены в Ивашова, в него был влюблен и Кузьма Петрович.

Мы выверяли... А ночью, в типографии, с внимательностью ученого, прильнувшего к микроскопу, тем же самым занималась Ася Тропинина:

- Это же русский язык!

Если статьи касались особо важных событий или кого-нибудь критиковали, я отправлялся проверять факты.

- Хвалить можно щедро, с преувеличениями, но ругать с преувеличениями нельзя! - учил меня Кузьма Петрович.

По вечерам Эдик с адской скоростью мчал меня и Асю в типографию, а оттуда глубокой ночью с той же крайне повышенной скоростью мы мчались обратно, доставляли пачки в редакцию и разъезжались по домам. Это был режим военной поры, такой чрезвычайной, что и превышенная скорость, которую развивал Эдик, мне представлялась закономерной, вполне соответствовавшей всем остальным исключениям из правил нормальной жизни.

Для этих забытых правил времени не оставалось. "Вот познакомлю вас со своей семьей!" - каждую неделю обещал мне и Асе Кузьма Петрович. Но неделя сменяла неделю, а возможность для знакомств, домашних общений не появлялась

и даже вдали не угадывалась.

Маму я тоже видел лишь по ночам, стоящей, как на посту, возле расплывчато светящегося окна нашей комнаты.

- Все нормально! - голосил я из кузова, стремясь сократить ее тревогу и ожидание хоть на минуту.

А утром, когда она беззвучно исчезала из комнаты, я еще спал.

На столе, в центре тарелки, всегда лежала записка: "Сашенька! Не забудь поесть. Мама".

Несколько раз рядом оказывалась другая тарелка, специально не мытая: я должен был удостовериться, что и мама позавтракала. Но однажды, убедившись, что это бутафория, я сказал:

- Ночью, перед сном, будем делить все, что у нас есть на завтрак.

Делить поровну!

- Посмотри на меня: мне надо сбрасывать вес.

- Но набирать силы.

- Я требую справедливости! - Мама, как жрица к солнцу, возвела руки к лампочке без абажура. - Ты ведь еще...

- Вспомни бомбоубежище!

...Мы завершали работу над номером, где рассказывалось о том, как очередной цех был "сдан в эксплуатацию" - в беспощадную эксплуатацию, которой подвергались тогда все цехи, все станки и все агрегаты. Исключения из правил везде стали правилом.

Вверху первой полосы широко расположились слова, называемые в газете "шапкой": "Вчера - стройучасток, сегодня - цех!" Это была действительно "шапка", потому что газетный номер как бы надел эти слова себе на голову.

Вторая полоса повествовала о том, как на строительстве "разные бригады объединились в едином порыве".

- Найди другие слова, - потребовал Кузьма Петрович. И, показывая, что это нелегко, преодолел пальцами правой руки свои стоймя стоявшие волосы,

которые сравнивали с рыжими металлическими пружинками. - Мысль правильная!

Но словами можно мысль укрепить, а можно и укокошить.

Укреплять мысли словами он заставлял меня ежедневно.

Кузьма Петрович был не только влюблен в Ивашова, но и в чем-то невольно ему подражал. Цитировал его высказывания... Но всегда со ссылками на первоисточник. Чаще всего он напоминал мне слова Ивашова о том, что каждый и в нечеловеческих, антигуманных условиях должен оставаться человеком и гуманистом.

Оставаясь таким, Кузьма Петрович сказал:

- Надо сделать этот номер праздничным. Людям в любых обстоятельствах необходимы и праздники. Хоть короткие... Как передышки!

Дом культуры приглашал в тот день на литературный концерт. Приезжали знаменитые актеры, которые гастролировали по Уралу и читали стихи классиков. Для придания номеру праздничности я еще днем продиктовал заметку в несколько строк о том, как вечером классическая поэзия воодушевила строителей на новые подвиги. Информационные материалы не требовали поиска слов: они просто оповещали.

- Все должно быть в жанре!.. - говорил Кузьма Петрович. - Это закон не только искусства, но и газетного дела.

- Может быть, пойдём на концерт? Он продлится часа полтора... А потом уже в типографию? - зашторив от смущения своей густой прядью оба глаза, предложила мне Ася.

Так как праздничный номер был подготовлен целой бригадой собственных корреспондентов заранее, представлялась редчайшая возможность отправиться в типографию засветло, пораньше вернуться оттуда и выспаться.

"Лучше напишу еще одно стихотворение о любви, пусть неклассическое... И тем обрадую Асю. А сам выплюсь!" - подумал я. И ответил:

- Давай лучше отдохнем. Хоть раз. Посмотри на себя!

Я с осуждением уставился на ее аскетически худое лицо.



- Давай, - без упрёка согласилась она.

На следующий день я явился в редакцию выспавшимся и потому в бодром настроении.

Ася, упершись взглядом в газетную подшивку, сидела на диване.

Она не должна была приходить по утрам. Но Кузьма Петрович, как мне потом стало известно, вызвал ее. Сам он совершал безостановочные зигзаги по комнате, точно по лабиринту.

- Ну, как вечер поэзии? - бросил он мне навстречу вопрос. - Воодушевил на новые подвиги?

- Не знаю, - ответил я.

- У нас на второй полосе написано, что воодушевил. Как говорится, черным по белому!

- А в чем дело?

- А в том, что вечер не состоялся. Дорогу метель занесла... И знаменитые чтецы не приехали. На подвиги воодушевляли табельщица Лида и ее хор. Спроси у нашего Эдика. Он подробней расскажет.

- Не приехали? - оторопело переспросил я.

Он продолжал резкие зигзаги по комнате.

- Но ведь это... мелочь, - неожиданно вступилась за меня Ася.

Зигзаги прекратились. Кузьма Петрович застыл.

- Мелочь, размноженная типографским способом и таким тиражом, - это не мелочь! "Классическая поэзия вдохновила на новые подвиги..." Сами эти слова опошлены, превратились в насмешку. - Я вспомнил слова Александры Евгеньевны о том, что не следует принимать доброту за слабость. Кузьма Петрович не мог освободиться от гнева. - Как говорят, "единожды солгавши, кто тебе поверит?". Представьте себе: такая с виду незначительная неправда способна породить недоверие ко всему, что напечатано в номере! А там написано про

немыслимое самопожертвование человеческое... Как же рядом с этим может быть ложь? Сегодня, в семь часов пятнадцать минут утра, такой вопрос задал мне Ивашов. Я взял вину на себя.

- А что он... в ответ? - проговорил я.

- Сказал, что мое боевое прошлое не позволяет ему сказать все, что он думает.

Но у меня такого прошлого не было.

Я слышал, что непрочные связи разлука уничтожает, а прочные делает еще более неразрывными.

В справедливости первого утверждения убедиться не было случая. А точность второго нам доказала Александра Евгеньевна: письма ее были частыми и подробными. Они неизменно состояли вроде бы из трех глав... В первой Александра Евгеньевна давала советы маме как главному врачу поликлиники. Во второй передавала привет от Нины Филипповны и рассказывала, как та постепенно, с помощью работы и книг, возвращается к жизни. А третья глава была посвящена мне... В ней Александра Евгеньевна просила не обманывать доверие Ивашова и попутно восторгалась им, чтобы я понял: доверие такого человека обмануть нельзя.

Но я обманул... Маленькая неправда исказила лицо праздничного номера, отвлекла на себя внимание читателей. Подмешала к восхищению и гордости иронию недоверия.

- Какая разница - маленькая заметка оказывается липовой или большая? - вопрошал меня Кузьма Петрович. - Чайная ложка дегтя и ложка столовая одинаково способны отравить бочку меда. Факты, даты, имена и фамилии - все проверять. В одной редакции до войны висел неглупый транспарант: "Что Твен - это точно, а что Марк - надо еще проверить!"

Назавтра я пришел в редакцию к семи утра, как и Кузьма Петрович,

пытаясь хоть этим загладить проступок.

- Нарушение приказов, брат мой, в военное время не допускается, -  
сказал он. - Слово командира - закон. К какому часу ты обязан являться?

- К девяти.

- А явился?

- К семи.

- Грубое нарушение!..

Вскоре он решил открыть мне другой путь к искуплению.

Встретив меня на пороге редакции, Кузьма Петрович сообщил:

- Фельдмаршал Паулюс сдался в плен вместе с ошметками своей шестой  
армии. Окончательная победа в Сталинградском сражении! - Он обхватил меня  
правой рукой. - Поздравляю!..

- Спасибо, Кузьма Петрович. И я поздравляю...

- Тут совпадение, брат мой, удачно получилось! "Прямое попадание", как  
сказал Ивашов. Сегодня к ночи сдадут в эксплуатацию еще один цех. И не  
просто особой, а, я скажу, сверхособой важности. Не надеялись успеть... Но  
успели! И совпало... Мы тоже должны успеть, то есть ты персонально!

- О чем вы, а? Я успею!

- Не говори "гоп"... Немедленно седлай Эдика - и, как мы пишем, на поле  
трудового сражения! Уже почти выигранного... Собственные корреспонденты  
подготовили материалы. Но кое-что ты напишешь сам: свежие впечатления! А  
главное, свяжешь нашу битву со Сталинградской. С ее победоносным окончанием!  
Прямого сравнения, понимаю, не может быть, но все-таки... Над заголовком  
газеты красными буквами напечатаем: "Победа на фронте!" А чуть ниже и,  
конечно, помельче, но тоже над заголовком и красным шрифтом: "Победа в тылу  
в честь победы на фронте!" Ничего будет?

- Ася скажет, что три раза повторяется слово "победа". Русский язык,

напомнит она, очень богат!

- Это слово можно сегодня повторять не три раза... а три тысячи раз. И русский язык будет только доволен! Ох, забыл: тебе мама звонила.

- Вы про цех не сказали?

- Нет.

Мама боялась цехов, которые сдавались в сверхсрочном порядке: все стены казались ей не сцементированными из-за мороза... как та стена, что погребла под собой дочь Ивашова...

- Разве вы не слышали, что в воронках надежней всего укрыться? - объяснял ей Кузьма Петрович. - Двух прямых попаданий в одно и то же место не случается. Да и учили давно... тот жуткий урок.

- Лучше все же не сообщайте ей, что я на ударных объектах, - попросил я Кузьму Петровича.

- Не буду. Разве мать убедишь?

Эдик не любил, когда его седлали неожиданно, без предварительного оповещения. Тем более днем: ему надо было хоть ненадолго навестить табельщицу Лиду.

Раздражение свое он выражал сосредоточенным молчанием и таким превышением скорости, которое даже для него было чрезмерным. Когда машина как вкопанная остановилась возле сверхважного цеха, мой лоб и лоб грузовика, именуемый лобовым стеклом, чуть было не врезались друг в друга. Эдик поставил точку в протесте, который молча излагал всю дорогу.

Я вошел в цех - и вместо крыши увидел над головой небо. Оно было в ключьях белой, застывшей дымки, будто кто-то прошелся по нему кистью и бросил побелку незавершенной. Лица были все "на одно лицо", выглядели однообразно загримированными: огненно покрасневшие щеки и побеленные (но густо, старательно) ресницы и брови. У кровельщиков все, кроме рук, было

сковано холодом. Они не бросали вниз ни одного любопытного взгляда. И другие были заняты только делом - ни разговоров, ни перекуров. Внизу и вверху все безостановочно, как детали жестко заведенного механизма, двигались, соприкасались и разъединялись, действовали...

Слово "шапка" стало для меня привычным, и я мысленно сравнил с "шапкой" крышу, которую кровельщики постепенно напяливали на цех. Металлические ворота еще лежали в ожидании на снегу.

Вернувшись, я сказал Кузьме Петровичу.

- Там уйма работы! Сдадут ли цех к ночи?

- Ты не уверен?! Ивашов сказал, что сдадут. А ты сомневаешься?

- Но надо проверить. Вы же сами распорядились...

- В данном случае не обязательно. Ивашов сказал! Значит, считай, все проверено. Можно печатать!

- И красными буквами?

- Красными.

- А вдруг...

- Этого быть не может!

К шести утра пачки, крест-накрест перевязанные веревкой, были уложены в кузов. Даже сквозь предрассветный полумрак высвечивались красные буквы... Я, как обычно, устроился рядом с пачками, на запасном колесе. Ася заняла свое место в кабине.

Эдик, чувствуя ответственность той ночи, не вваливался в корректорскую с вопросом: "Скоро вы там?" Он терпеливо прохаживался то по улице, то по типографскому цеху. Но энергия нетерпения, сконцентрировавшись в нем за ночь, опять прорвалась адской скоростью. Дорога рассекла лес, выскочила на речной берег, а за крутым поворотом снова намеревалась прорезать лесную чащу.

Сбавлять скорость на поворотах Эдик считал для себя унижительным...

Меня швырнуло к борту, на газетные пачки. И тут же я ощутил резкие удары в плечо и ногу. А потом оказался в снегу... Боль расплзалась по левой стороне тела, как бы подтягивая ногу к плечу. А вокруг меня, как пятна крови на белом просторе, разметались алые буквы... Взгляд мой, замутненный все нараставшей болью, выхватывал кроваво-красное слово "ПОБЕДА". Оно повторялось в "шапке" три раза, а на снегу бесчисленное количество раз. Экземпляры праздничного номера устлали собой поляну.

- Что с тобой? Что?! - услышал я Асин голос.

Она присела на корточки и в отчаянии сжала голову, как тогда в типографии.

- Ничего страшного, - через силу попытался я утешить ее. - Не беспокойся.

- Господи... как же не беспокоиться? Тебе очень больно?

- Не очень.

Один красный заголовок оказался у меня под головой. Алый цвет расплывался и увеличивался.

- А что у тебя с головой? - прошептала Ася. - Это же...

Она сняла варежку и подложила мне под голову теплую руку. Потом взглянула на нее, придерживая голову другой теплой ладонью.

- Ты разбил голову... Надо скорее перевязать. Но чем? Я буду держать ее.

Кровь на моем затылке и на снегу так потрясла Асю, что голос ее стал сдержанным.

- Полежи немного. Здесь, на снегу, мягко... Мы сейчас перенесем тебя.

Снег вязко закрипел с другой стороны.

- Ты прости меня. Ладно? - внезапно пробурчал надо мной голос Эдика.

В полутумане я увидел, как Ася и Эдик, проваливаясь в снег и неловко, но упрямо преодолевая его, собирали газеты, не позволяя ветру их унести.

Иногда они ловили номера на лету.

А потом появились какие-то незнакомые люди в полушубках и ватниках. И тоже принялись отбивать газеты у ветра.

- Мы поставили машину на колеса, - спокойно, не придавая этому большого значения, сообщил застенчивый бас.

Наш грузовик, значит, перевернулся? Или упал набок?

Я перестал видеть красные пятна на белом поле... Видел только фигуры, казавшиеся огромными, которые с трудом вытаскивали ноги из снега и вновь их туда погружали. Это напоминало странную пляску.

Меня бережно подняли и понесли.

- Трехтонка уехала, - сообщил застенчивый бас. - Они предупредят там, в поликлинике. Чтоб подготовились, что ль... Или в госпиталь его повезете?

- Лучше в поликлинику, - ответила Ася.

Стало быть, это шоферы попутных или встречных машин нам помогали. В ту пору они не проскакивали мимо чужой беды на дороге.

- Его в кабину, что ль?

- Нет, в кузов. Чтобы мог лечь... Я буду держать его.

Меня опустили. Голова оказалась на запасном колесе: я ощутил запах резины.

Машина, стоявшая впереди нас, тронулась. А за ней двинулись и мы... Эдик вел грузовик так, будто в кузове притаились похожие на фугаски баллоны со взрывчатым веществом: он извинялся передо мной.

Ася повторяла одно и то же:

- Тебе стало легче? Скажи, стало?

Неожиданная мысль, как еще один удар в голову, поразила меня, заставила приподняться.

- Что ты? - встревожилась Ася.

- Он сказал, что в поликлинику сообщат... Маме сообщат об аварии! Ты представляешь себе?

- Успокойся. Мы уже близко...

- Подъезжаем?

- Почти.

- Я тогда поднимусь.

- Ни за что!.. Я встану вместо тебя.

Она крепко обхватила, обняла меня, давая понять, что встать не позволит.

- Нельзя тебе.

- Нет, я встану!

- А если перелом ключицы?

- Все равно!..

Разомкнув обхвативший меня живой обруч и превозмогая боль, вновь подтянувшую ногу к плечу, я встал в полный рост. И еще приподнялся на цыпочки, чтобы из-за кабины меня ясней было видно. Не давая мне качнуться, упасть, Ася поддерживала меня сзади.

Эдик стал робко, но настойчиво тормозить. Не потому, что увидел меня сквозь окошко кабины... А потому, что посреди дороги, навстречу машине бежала мама. Не замечая колкого предутреннего мороза, она сбросила платок с головы на плечи, расстегнула пальто. Она бежала прямо на наш грузовик. Не боясь его или ничего перед собою не видя...

Я, как всегда, замахал рукой;

- Все нормально, мамочка... Все нормально!

Ася поддерживала меня сзади.

Летопись моей жизни... Сегодня в ней уже много страниц. Но главные из них - мама... война и Победа. Без этих страниц нет летописи, как нет и самой моей жизни.